

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ  
ЖУРНАЛ

3

1 9 2 5

---

# СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕННА, 24 (вход с Селиверстовского пер.). Тел. 4-32-22.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Горлов., уши., носов. . . . .	с 9—8.	Лечение гингивозом. . . . .	с 10—1; 3—8.
Венерич. и мочепол. . . . .	" 9—8.	Туберкулез легких. . . . .	9—12 и 6—8.
Хирургические. . . . .	" 9—8.	Внутренние. . . . .	с 9—8.
Женские и акуш. . . . .	" 9—8.	Детские. . . . .	" 9—8.
Глазные (подбор очков). . . . .	" 9—8.	Кожные. . . . .	" 9—8.
Желудочные. . . . .	9—10 и 12—2.	Лечение угрей и пятен. . . . .	" 9—8.
Болезни сердца. . . . .	с 12—1.	Леч. волос (выпад., перхоть). . . . .	" 9—8.
Нервы. и душевн. . . . .	" 9—8.	Испр. запад. носа. . . . .	с 10—12 и 5—8.
		Болезни мочевых путей (мочев. пузыря, лоханок и почек) с 9—11; 4—8.	

АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и желудочного сока.

**ЗУБОВРАЧЕБ. ОТД.:** лечен., пломбир., удаление, искуз зубы 9—3 ч.; хирургич. полости рта (бол. десен) 2—4 ч

**РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБ.:** снимки, просвечив., лечение бол. кожи с 11—1 ч.

**ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБ.:** все виды электролечения, ванны (солян. и углекисл.) с 9—8.

Вызов врачей на дом по всем специальностям.

По воскр. и празд. прием с 10—2 ч.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.

## ЛЕЧЕБНИЦА Т-ва ВРАЧЕЙ,

б. о-ва русских врачей, суш с 1861 г. Арбат, 25. Тел. 3-70-85.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Внутренние. . . . .	10—8.	Хирургия. . . . .	10—12; 2—7.
Кожно-венер. . . . .	10—12; 5—7.	Женск. акуш. . . . .	10—7.
Ухо, горло, нос. . . . .	3—7.	Нервные. . . . .	10—1; 2—4; 7—8.
Детские. . . . .	11—7.	Зубные и искуств. зубы. . . . .	10—7.
Мочеполовые. . . . .	1—4.	Туберкулез костей и суст. . . . .	4—5.
Глазные. . . . .	11—1; 6—8.	Ортопедия. . . . .	

Рентгеновский и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечивания, лечение. Анализы: крови, мочи, мокроты, желудочного сока и др. По воскрес. прием с 11—3.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ

## СТАРО-ТРИУМФАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Садовая, уг. Тверской, д. 2/70, тел. 5-94-40.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТ. ПРОФЕС.

Внутр., детские 10—2; 4—8	Хирургические . . . . .	2—4
Кожн.-в. и мочепол. . . 9—9	Женские и акушер. . . 9—8	
Туберн. горла 10—2; 5—8	Нервные (гингивоз) . . 6—8	
Глазные . . . 9—10; 4—5 1/2	Туберкулез легких . . 4—6	
Влив. Сальварсана «914»	Зубные . . . . .	9—8

## ЕЛОХОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

тел. 2-72-78.

Вблизи Разгуляя. Спартак (Елоховская), 22. Трамв.: 3, 5, 14, 22, 33 и В.

**Прием по всем специальностям.** ежедневно с 9—9 час., по праздникам 10—3 ч.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ

## БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Б. Серпуховск. ул., д. 14. Телефон 5-81-18.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ.

Внутр. и детские. . . . .	10—6.
Хирургия. . . . .	3—5.
Женск., акушерство. . . . .	10—8.
Кожно-венерические и мочепол. (влив. 914) . . . . .	9—8.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.

Ухо, нос., горло. . . . .	3—5; 6—8.
Глазные. . . . .	4—5 1/2.
Нервные (гингивоз). . . . .	5—7.
Туберкулез. . . . .	6—8.
Зубные (леч. и иск. зубы). . . . .	10—3.

ЖЕНСКИЙ СТАЦИОНАРИЙ и РОДИЛЬНЫЙ ПРИУТ.

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ МЕДИЦИНЫ. АНАЛИЗЫ (крови, мочи и т. д.).

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ НА ДОМ.

## Д-р ШЕНФЕЛЬД.

Больш. Дмитровка, 12, кв. 3. Спец. НЕРВНЫЕ и МОЧЕПОЛОВЫЕ. 10—1 ч. и 4—7. по праздникам 10—1.

## Д-р ВОЛОДАРСКИЙ.

Покровка, д. 19, кв. 21. Тел. 2-32-45. Кожн., вепер., сифилис, мочепол. и нервн. Пр. 9—1 и 4—9. Праздн. 12—2.

# ХОЗЯЙСТВЕННИКИ!

ПОМЕЩАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ в отделе

# „НОВОСТИ РЫНКА и ПОСЛЕДНИЕ ЦЕНЫ“

выходящем еженедельно в среду в «Известиях ЦИК».

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

МАРТ.

№ 3.

## СОДЕРЖАНИЕ:

	Стр.
Н. Г. Чернышевский.—I. Это не сказка. II. Приключение друга (неизданные рассказы) . . . . .	3
Петр Ширяев.—Накипь, рассказ . . . . .	20
Георгий Устинов.—Черный ветер, повесть (окончание) .	43
Стихотворения: В. Брюсова, С. Есенина, А. Липецкого и А. Макарова . . . . .	78
Андрэ Марти.—Черноморское восстание (воспоминания) .	82
Леонид Гроссман.—Крепостные поэты . . . . .	105
И. Ильинский.—Право и диктатура пролетариата . . . .	119
По Советской земле. Вяч. Шихов.—Приволжский край .	127
Проф. Б. Лобач-Жученко.—Новости науки и техники . .	138
Библиография . . . . .	153

ИЗДАНИЕ „ИЗВЕСТИЙ ЦИК ССОР и ВЦИК“

МОСКВА—1925.



## Неизданные рассказы Н. Г. Чернышевского.

Грешить беллетристикой Чернышевский начал в молодости, но после первых опытов он не продолжал беллетристических упражнений и вернулся к ним только в Алексеевском равелине, куда он был заключен 7 июля 1862 года \*). Здесь, наряду с работами научными, автобиографическими и переводными, он уделял много внимания и беллетристике. Здесь была создана и крупнейшая беллетристическая вещь „Что делать?“. Кроме этого знаменитого романа, Чернышевский начал две больших повести: „Алферьев“ и „Повесть в повести“. Первая тесно примыкает к „Что делать?“ и тоже является повестью о новых людях; вторая является любопытной попыткой использовать своеобразную литературную форму „Тысячи и одной ночи“. „Повесть в повести“, как и показывает само заглавие, дает соединение целого ряда отдельных рассказов, ведущихся разными лицами, как действующими в повести, так и посторонними—„знакомыми“ участников. В этом собрании рассказов и повестей автор не ставил задачей выявить новых людей, но и здесь его главное внимание обращено на новые ответы на обычные бытовые положения.

Кроме названных больших повестей, Чернышевский писал и небольшие мелкие рассказы на разнообразные темы. Тут и вспомнившийся рассказ о временах минувших, о минувшем быте, и переделка прочитанных страниц, и парадоксальное, с точки зрения благополучного современника, разрешение бытовых вопросов. Быть может, некоторые из этих мелких рассказов Чернышевский предназначал для включения в серию „Повесть в повести“. Но возможно, что автор предназначал и отдельно издать эти рассказы, объединенные, во-первых, единым отношением к воспроизводимой в них действительности, а во-вторых, и внешней связью—промежуточными сценами, в которых вымышленные собеседники расценивают события и лица, введенные в рассказы.

Мы воспроизводим здесь впервые в печати из мелких рассказов Н. Г. Чернышевского два: „Это—вовсе не сказка (из Дидро)“ и „Приключения друга“.

П. Е. ЩЕГОЛЕВ.

\*) О Н. Г. Чернышевском в равелине см. нашу статью в „Звезде“ (1924, № 3, стр. 71—77). Здесь же напечатаны и три рассказа Чернышевского.

## Это не сказка.

(Из Дидро.)

**П**равда, бывает, что „она“ — дурной человек, а „он“ — хороший человек. Но бывает и наоборот. Это будет вовсе не сказка \*).

— Верю.

— Д'Эрувиль...

— Этот, которого мы знаем, генерал-лейтенант, женившийся на очаровательном существе, которое было известно под именем Лолотты \*\*).

— Он самый.

— Это умный и ученый человек.

— Да. Он хотел написать всеобщую военную историю.

— Труд огромный.

— Он долго работал над ним; взял на помощь себе несколько молодых людей, очень даровитых; например, в числе их был Монтюкла, автор „Истории математики“.

— Монтюкла! Это самый великий ученый.

— Гардель, о котором я стану вам рассказывать, был человек менее даровитый. Мы с ним в то время были в горячке страстного желания выучиться по-гречески; это сблизило нас; тем больше, что мы и жили недалеко друг от друга.

— Вы жили тогда на Эстрападе?

— А он в rue Saint-Hyacinthe; а его подруга, m<sup>lle</sup> де-ла-Шю, на place Saint Michel. Я прямо называю ее фамилию, потому что ее, несчастной, уж нет на свете, и потому что порядочные люди будут с уважением произносить это имя, когда узнают ее жизнь.

— Ваш голос задрожал... Да у вас на глазах слезы!

---

\*) Это уверение обыкновенно бывает равнозначительно удостоверению, что будет рассказываться выдуманная история. Но здесь оно буквально справедливо. Дидро не прибавляет ни одной черты ни в лицах, ни в происшествиях: все было совершенно так. Он рассказывает историю m<sup>lle</sup> де-ла-Шю, описывает характеры и отношения ее, Гарделя, Камюса с полною точностью.

Нежон (издатель полного собрания сочинений Дидро; сам Дидро, говорящий о себе без всяких выдумок).

\*\*) Граф Д'Эрувиль, автор *Traité des légions* (О легионах), Paris 1757. Его хотели назначить военным министром, но женитьба его на Лолотте, слишком неравный брак, помешала этому.

— Она и теперь, как живая, стоит передо мною, с своими большими черными глазами, блестящими и кроткими, и нежный ее голос звучит в моих ушах и волнует тоскою мое сердце. Очаровательная, несравненная. Тебя уж нет! Теперь уж скоро двадцать лет, как нет тебя, а мое сердце все еще сжимается, когда я вспоминаю о тебе.

— Вы любили ее?

— Нет. О, дивная девушка! И ты, Гардель, был дивом благодарности. Она была из хорошей фамилии. Она бросила родных, увлеклась Гарделем, бежала. У Гарделя не было ничего. У ней было небольшое наследство; она отдала все его на надобности и прихоти Гарделя. И не жалела ни о прожитом состоянии ни о потере своей репутации: Гардель заменял ей все.

— Значит, он был очень любезен, хорош собою?

— Нисколько. Маленького роста, сутуловатый, угрюмый, желчный, с осунувшимся лицом, желтый, — очень невзрачная фигурка, и дурен собою настолько, насколько может быть дурен мужчина с умным выражением физиономии,

— И такой человек вскружил голову очаровательной девушке?

— Это вас удивляет?

— Да, не могу привыкнуть к этому.

— Д'Эрувиллю хотелось, чтобы труд его шел быстро, он заваливал работою своих помощников. Здоровье Гарделя стало страдать от этого. Чтобы облегчить его работу, m-me де-ла-Шо выучилась по-еврейски, переводила и комментировала отрывки из еврейских писателей, а Гардель отдыхал. Пришла очередь делать выборку из греческих писателей—она выучилась по-гречески; Гардель спал, она переводила отрывки из Ксенофонта и Фукидида. Она знала также по-английски, по-итальянски. По-английски—так превосходно, что, переводя метафизические трактаты Юма, устав писать, она отдыхала, гравирова ноты. Если замечала, что ее друг скучает,—пела, чтобы развлечь его. Я ничего не преувеличиваю; можете спросить у доктора Камюса, который утешал ее потом, помогал ей, неизменно служил ей. не покидал ее на чердаке, закрыл ей глаза, умирающей. Но я забыл одно из первых ее несчастий: семейство, озлобленное тем, что она нисколько не скрывала своих отношений к Гарделю, преследовало ее. Всеми законными и незаконными средствами родные добивались того, чтобы посадить ее в смиренный дом, как развратницу, со всем скандалом. Они гонялись за нею из квартала в квартал, так что несколько лет она должна была жить под чужим именем, прячась от них. Целый день, целый день она работала для Гарделя. Поздно вечером приходили мы, я и Гардель, при его виде вся ее печаль, все тревоги улетали. И несмотря на все, она была счастлива, пока Гардель не стал неблагодарным.

— Но невозможно стать неблагодарным к той, которая была такая редкая женщина, была так нежна, принесла столько жертв.

— Ошибаетесь, можно. Пришел день, и m-ле де-ла-Шо увидела себя одинокою в мире с своим позором во мнении общества, без куска хлеба, без поддержки, — нет, но без поддержки: я остался поддержкою ей — вначале; доктор Камюс — навсегда.

— О, люди, люди!

— О ком вы говорите?

— О Гарделе.

— Дурного человека вы видите; а разве не видите, что подле него и хороший? В этот день скорби и отчаяния она прибежала ко мне. Это было по-утру. Она была бледна, как смерть. Она узнала свою судьбу только накануне, и, взглянув на нее, подумали бы, что она страдает давно, очень давно. Она уж не плакала, но видно было, что много плакала. Она бросилась в кресло, не говорила, не могла говорить, — только протягивала руки ко мне и стонала: „Что такое случилось? Он умер? Он не любит меня, бросил меня!“

— Ну, что это вы?

— Не могу: она у меня перед глазами: вижу ее, слышу ее, и не могу удержать слез. „Он не любит вас?“ — „Да“. — „Бросил вас?“ — „Да, после всего, что я сделала... Дидро, голова моя расстроена; жальтесь надо мною, не оставляйте меня одну, — пожалуйста, не оставляйте меня одну!“ — Она схватила мою руку, крепко стиснула ее, будто и эта рука будет вырвана у нее. — „Не бойтесь!“ — „Ах, я боюсь только самой себя!“ — „Что я должен сделать для вас?“ — „Спасите меня от самой меня. Он не любит меня. Я наскучила ему. Я надоела ему. Он ненавидит меня. Бросил меня. Бросил, бросил!“ —

Несколько раз повторила она — „бросил, бросил!“ И замолчала. Это молчание было страшнее всяких криков и стонов. Потом она плакала, у нее со стоном вырывались невнятные слова, губы ее дрожали; надобно было не мешать этому пароксизму, и я не мешал ему. Когда она успокоилась, выбившись из сил, я стал говорить с нею: — „Он вас ненавидит, бросил вас, — почему вы так уверены в этом?“ — „Он сам сказал“. — „Но зачем же совершенно отчаиваться? Он не может быть таким злодеем“. — „Вы не знаете его; вы увидите, да, он злодей, каких нет и не бывало“. — „Нет, я не верю“. — „Увидите!“ — „Он влюбился в другую?“ — „Нет“. — „Не подали ли вы ему повода к подозрению или к неудовольствию?“ — „Никакого, никакого“. — „Что ж это такое?“ — „Ему нет выгоды любить меня. У меня ничего не осталось, и я не нужна ему. Он честолюбив, я связываю его. Я потеряла здоровье, подурнела от работы: о, я столько работала, и я перестала нравиться ему“. — „Можно перестать быть влюбленным, нельзя перестать быть другом“. — „Я

стала существом несносным для него, ему тяжело видеть меня, ему неприятно, возмутительно видеть меня. Если б вы знали, Дидро, что он мне сказал! Да, он сказал мне, что если бы его приговорили просидеть одни сутки вместе со мною, он бросился бы в окно". — „Но такое отвращение не могло явиться вдруг". — „Почему ж я знаю? Он от природы так холоден, так груб! — Так трудно читать в душе у человека. И так не хочется читать свой смертный приговор. Он произнес его мне, и с какою жестокостью!" — „Нет, я не понимаю этого". — „Прошу вас, пожалуйста, — я за тем и пришла, чтобы просить об этом, — вы сделаете, что я попрошу?" — „Приказывайте, все". — „Послушайте, он уважает вас; вы знаете, как многим он обязан мне. Может быть, он постыдится показаться перед вами таким, как передо мною, — да, постыдится. Я женщина, вы мужчина, ваше мнение дороже для него. Он знает, что у вас доброе сердце, он постыдится вас. Дайте мне руку и, пожалуйста, идите со мною к нему. Я хочу говорить с ним при вас. Может быть, при вас мое огорчение разжалобит его. Вы пойдете со мною?" — „Пойду". — „Идем же".

— Я послал за портшезом: она была слишком слаба, чтобы идти. Вот и дом, в котором живет Гардель. Носильщики остановились, открыли портшез. Я жду. Она не выходит. Я подхожу ближе к портшезу и вижу, что она дрожит всем телом, как в лихорадке. Колена ее бились одно о другое. — „Минуту, Дидро, одну минуту, — я не могу. Что пользы? Я напрасно оторвала вас от дела, простите меня!" — Я протягивал ей руку; она взяла ее, силалась подняться, и не могла. „Еще одну минуту, Дидро: не поскучайте; вы видите, какая я жалкая". Наконец, она несколько оправилась; вышла из портшеза, прошептала: „Да, надобно видеть его. Может быть, и умру".

Мы подошли к его двери. Вот мы и в его комнате. Он сидел в шлафроке за письменным столом, сделал мне рукою знак, что просит садиться, и продолжал писать. Через несколько времени встал, подошел ко мне и сказал: „Согласитесь, что с женщинами много хлопот. Тысячу раз прошу у вас извинения за хлопоты, в которые ввела вас мадмуазель де-ла-Шо". — „Обратился к ней, — она была почти в обмороке от слабости: „Чего еще хотите вы от меня? Кажется, я объяснился с вами понятно и полно, и после этого нам не о чем говорить с вами. Я сказал вам, что уже не люблю вас; сказал вам это наедине; вам, кажется, угодно, чтобы я повторил это при г. Дидро, извольте: мадмуазель, я не люблю вас. Во мне угасла любовь к вам, и если это вас может утешить, то прибавлю: и ко всякой женщине". — „Но почему ж ты разлюбил меня?" — „Не знаю. Знаю только то, что как полюбил вас, сам не знаю почему, так и разлюбил, сам не знаю почему, и что чувствую невозможность нового пробуждения любви. Это болезнь, от которой я излечился, и очень рад тому". — „Чем я виновата

перед тобою?" — „Ничем“. — „Быть может, ты только не хочешь сказать, у тебя есть какой-нибудь упрек против меня?" — „Ни малейшего. Вы вернейшая, благороднейшая, нежнейшая женщина в целом мире". — „Может быть, я не делала для тебя чего-нибудь, возможного мне?" — „Вы сделали все". — „Я пожертвовала тебе всем, и ты ненавидишь меня". — „Это выражение, которое неприятно употреблять; но если оно употреблено, я должен сказать, что оно верно". — „Он ненавидит меня, Боже мой!"

— Смертельная бледность разлилась по ее лицу, губы ее побелели, холодный пот выступил на лице ее и катился по щекам, мешаясь со слезами. Голова ее упала на спинку кресла, зубы ее сжались судорогою, по всему телу пробежала дрожь и прекратилась. Видя ее неподвижною, я подумал: „Умирает, как надеялась, входя сюда". Это была не агония, а только обморок. Я, испуганный, снял с нее плащ, распустил шнуровку ее платья, брызгал водою в лицо ей. Ее глаза наполовину раскрылись, в горле ее послышался глухой шум, она хотела произнести — „он ненавидит меня" — только последние слоги: ... „дит меня", — можно было разобрать, — и за ними пронзительный вопль, и ресницы опять смыкались, она опять была без чувств.

Гардель холодно сидел, опершись локтем о стол, положив щеку на руку, равнодушно смотрел, как я ухаживаю за нею. Я твердил ему: „Но, милостивый государь, она умирает... надобно медика". Он с улыбкой пожал плечами и отвечал: „Женщина — живучая тварь, не так скоро умирает; это — ничего, обойдется. Вы не знаете их: они выделывают из себя, что хотят". — „Умирает, говорю вам". И, точно, она похолодела, и тело ее падало без силы, как мертвое, — она валилась с кресла. Я держал ее. Гардель с досадою встал, пошел по комнате и грубым, нетерпеливым голосом заговорил: „Я не был бы в претензии, если б и не угостили меня этою сценою; но надеюсь, что она будет последняя. Чего хочет от меня эта госпожа? Я любил ее; но хоть биться мне головою о косяк, — не пробудить чувства, которого уж нет. Я сказал ей; надобно же понять, когда сказал, что не люблю, — ну, и конец делу". — „Нет, милостивый государь, не так: по вашему мнению, обобрав у женщины все деньги, остается только бросить ее". — „Что ж я могу? Я такой же нищий, как и она". — „Что вы можете? — Вы должны делиться с нею последним вашим куском хлеба. Обобрали ее и бросаете!" — „Делиться с нею? Как мило вы рассуждаете. Ее я не накормлю этим, а сам буду голоден". — „Так-то Вы поступаете с другом, который пожертвовал для вас всем?" — „Друг, друг!" Я не слишком-то верю в друзей, а этот опыт научил меня не верить и в прочность страсти. Очень жалею, что не понимал этого прежде". — „И она должна быть жертвою?" — „А кто вам сказал, что через месяц, через два не поступила бы она со мною точно так же?" — „Кто мне сказал? Мне сказано это тем, что она сделала для вас, и тем, что теперь я вижу." — „Что

она сделала для меня?.. Важность! А я тратил на нее время, мы и квиты".—„Тратили ваше время? его потеря равноценна всему, что вы брали у нее?"—„У меня бесполезно пропадало время: мне уж тридцать лет, и я еще—ничто; пора подумать о своей карьере и бросить эти глупости." Между тем, бедная девушка пришла в чувство; она слышала последние слова:—„Он говорит, что я отнимала у него время! Я выучилась четырём языкам, чтобы облегчать его работу; прочла сотни томов; писала, переводила день и ночь; расстроила свое здоровье, испортила себе глаза, от изнурения у меня развилась болезнь, вот причина того, что он разлюбил меня,—мне стыдно было сказать, но смотрите"...

Она сорвала пелеринку, сорвала платье с одного плеча: плечо было желто от изнуренного здоровья:—„Вот отчего он разлюбил, вот, вот",—говорила она, указывая рукою пожелтевшие пятна на плече:—„Это от бессонных ночей, я все работала для него,—он приходил поутру с кипю статей, актов из архивов, и говорил: „Надобно бы поскорее сделать выборку из них; хорошо бы к завтра".—И к утру завтра работа бывала готова"... В эту минуту слышались шаги: кто-то шел к двери—слуга, он вошел и сказал, что к крыльцу под'ехал экипаж д'Эрувилля. Гардель побледнел. Я стал говорить ей: „Оправьте платье, и уйдем".—„Нет, нет, я останусь, я скажу д'Эрувиллю, какой это человек".—„К чему же? Что пользы?"—„Правда; бесполезно!"—„Вы сами завтра были бы недовольны собою. Оставьте его торжествовать: это будет мщение, достойное вас".—„Идем же отсюда, идем скорее; я, быть может, не удержалась бы"...

Она быстро подвинула платье на плечо и, как стрела, бросилась в переднюю, на лестницу. Я проводил ее на ее квартиру. Там ждал нас доктор Камюс. Он почти так же любил ее, как она Гарделя. Я рассказал ему,—и сквозь печаль, негодование пробивалась на его лице радость.

Она занемогла и долго была очень тяжело больна. Он ухаживал за нею с заботливостью, какую не имел бы к самой королеве. Он бывал у нее по три, по четыре раза в день. Пока была опасность, он ночевал у нее—на голом полу. Когда она стала оправляться, мы начали советоваться, как ей жить; нашли работу ей. У ней было столько знаний, что у редкого из академиков найдете вы столько. Она так привыкла с нами к ученым разговорам, что самые отвлеченные науки стали хорошо знакомы ей. Первым литературным трудом ее был перевод „Трактата о мыслительной способности". Я перечитывал его; поправлять было почти нечего. Он был напечатан в Голландии, публика нашла его очень хорошим.

Около этого времени вышло и мое „Письмо о глухих и немых". Очень умные замечания, которые она сделала мне, за-

ставили меня написать „Дополнение“, которое посвятил я ей \*). Это „Прибавление“—одна из хороших моих вещей.

Постепенно к ней возвратилась часть ее прежней веселости. Доктор иногда приглашал нас обедать к нему; эти обеды не были мрачны. Когда Гардель бросил m-elle де-ла-Шо, страсть доктора к ней развилась.

Однажды мы обедали втроем; он стал говорить ей, что любит ее; это об'яснение имело всю наивность детства, всю деликатность слов человека, опытного в жизни. Она с прямодушием, которое понравилось мне и, быть может, не понравится другим, отвечала ему: „Доктор, я уважаю вас, как никого. Я получила от вас бесконечно много услуг, и была бы таким же чудовищем неблагодарности, как Гардель, если бы не чувствовала к вам живейшей дружбы. И ваш характер чрезвычайно нравится мне. Вы говорите о вашей страсти с такою деликатностью, так приятно, что, мне кажется, я огорчался бы, если бы теперь вы замолкли о ней навсегда. От одной мысли перестать видеться с вами, быть дружной с вами, я стала бы несчастна. Вы—благородный, благородный человек. Характер ваш добр и кроток безусловно. Невозможно найти человека, который больше вас заслуживал бы любви. Давно, день и ночь, я говорю моему сердцу: полюби его. Оно не покоряется. Но вы страдаете, и это больно мне. Я не знаю человека, который больше вас достоин был бы быть счастливым, и нет никакой границы моей готовности делать все, что нужно для вашего счастья: все, что зависит от воли, все без исключения. Над моим сердцем я не властна. Но тело мое я могу отдать вам. Если это надобно, я буду жить с вами. Но вам надобно не тело мое, а любовь,—она не зависит от моей воли“.

Доктор взял ее руку, поцеловал,—слезы лились у него на эту руку. Я не знал, смеяться мне или плакать. Она знала его. На другой день я сказал ей: „А если бы он попросил вас исполнить ваше слово?“—„Я сдержала бы слово. Но этого не могло быть. То, что одно предлагала я, одно не будет взято человеком таким, как он“.—„А почему ж нет? На месте доктора я сказал бы: возьмем, и любовь придет после“.—„Вы на его месте приняли бы; но я не сделала бы предложения, если бы на его месте были вы“.

Через несколько времени она переселилась на другой конец города, и я потерял ее из виду. Знаю только, что родные беспощадно преследовали и мучили ее до конца жизни, и что доктор до конца остался верным другом ей. Она скоро умерла.

\*) „Письмо о глухих и немых, на пользу слышащим и говорящим“—одно из знаменитейших философских сочинений Дидро; оно вышло в начале 1751. „Дополнение“ к нему, посвященное m-elle де-ла-Шо, появилось через несколько месяцев. Читатель знает, что все порядочные французские книги печатались тогда в Голландии, но голландские книгопродавцы, не имея средств платить много, часто не платили ничего французским авторам. Порядочному писателю-французу было очень трудно жить литературою. Сам Дидро тогда и долго после имел очень мало денег.

— А Гардель?

— Гардель—он тоже медик—поселился в Монпелье или в Тулузе, имеет отличную практику, большие деньги, репутацию хорошего медика—заслуженную—и благородного человека—не слишком-то заслуженную.

— Так, это в порядке вещей.

## II.

### Приключение друга.

**С**о мною не могло быть ничего такого. Я человек одинокий, никого не люблю и меня никто не любит. Какие огорчения в жизни могут быть у меня? Иной раз чувствуешь подагру или небольшую одышку,—остальное все благополучно. Но бывает иногда досадно, когда видишь ошибку.

В молодости мы служили вместе с одним, тоже отличным, человеком. Он вышел в отставку, уехал в деревню; нажил детей, как следует. Провел в этом занятии лет двадцать пять, и вдруг я получаю от него письмо такого содержания, что, дескать, по старой дружбе, похлопочи: „сын мой, говорит, прекрасный молодой человек, но имел несчастье влюбиться в девушку без состояния и даже не нашего сословия, а дочь соседнего управляющего. Я—пишет это мне отец—не спорю, что она прекрасная девушка, но не пара: потому он выкинул такую штуку, что увез ее, и где они теперь—неизвестно; а надобно полагать, скорее всего, в Петербурге, потому что—где ж ему искать хлеба, как не в Петербурге?—Потому что,—все он пишет,—у моего сына нет ничего, ускакал с двумястами целковых; и что теперь они с нею едят—неизвестно, а надобно полагать, что сидят, не евши; и хоть,—пишет он,—я очень досадовал, но отцовское сердце заговорило, да и мать этого повесы просит: неужели, говорит, мы уморим сына с голоду?—Потому,—он пишет,—старый дружище, поищи ты моего парня. Счастье наше с женою будет, если они не повенчаны; но не смеем и надеяться на это: кабы не повенчался, безумная голова, то давно бы написал, попросил прощения. Но ты скажи, что все прощаем. Голы они и босы, надобно полагать,—ты их экипируй прилично, чтобы не стыдно было показаться в нашу здешнюю публику, как следует сыну богатого помещика и его жене: когда повенчаешь, то уж дочь и она, толковать нечего; ну, экипаж тоже возьми, посади их да и отправь к нам в Бугуруслан, обнадеживши, что примем с ласкою и благословением, и попреков не будет. Приметы же: сын—вылитый, как я был, только по-нынешнему не бреется, так вообрази, каков был я в те годы, лишь с окладистою бородою; а борода—черная. Она же лет 19, маленькая, хоро-

шенькая, востроносенькая, глаза серые, волосы шатеновые; и если не забыл, то похожа на нашу бывшую генеральшу Назаренкову, когда генеральша еще была в девицах“.

— Ладно, я говорю,—поищем.

Послал своего Игнатия Трофимыча в адресный стол,—там ему дали штук до пятнадцати Гусевых, молодых людей, и женатых, и холостых: он всяких брал, на оба, знаете, случая. Проездив два утра, три целковых, возвратился с тем, что так ни один и не подошел под приметы. Однако, я сам ездил к двоим, которые казались поподходящее других на его глаза: точно, и они не подходят. Один женат на брюнетке, другой тетку показал: „вот, говорит, удостоверьтесь от тетушки, что все наше семейство—коренные петербургские жители, безвыездные; а если этого не довольно вам, то прошу вас отправиться к отцу-матери моей супруги, они живут в Большой Офицерской, в доме Рашетта“. Нет, говорю, верю. Написал своему старому однокашнику: из пятнадцати человек ни один не подлежит под твоего сына с его женою или любезною.

Получаю от моего Гусева ответ: „не прост ли ты, друг? Как же ты хотел, чтобы молодой человек с девицею ли, или женою, но благородною, скрывающиеся от родителей, жили под настоящим именем?“

Точно, думаю, прав старик, а вот я тоже старик, но немножко опростоволосился. Ладно, поищем по приметам, наведем справки. Дал в этом смысле инструкцию своему Игнатию Трофимычу, он подобрал себе в пособие человек двух-трех таких нюхальщиков, пошли нюхать по Петербургу. И сам я старался узнавать. Но, конечно, в таких вещах скорее можно доискаться по мелочным лавочкам и от дворников, и притом же их целых четверо искало, а я один,—не мне, а им и случилось напасть на след.

Живут на Петербургской, на Малом проспекте, в доме вдовы-чиновницы Хрисанфовой; приехали в Петербург назад тому четыре месяца; повенчаны; паспорт у мужа: чиновник канцелярии казанского прокурора—Рукавичников, уволен в Петербург на полгода. Приметы все те: высокого роста, смуглый, волоса черные, курчавые, нос орлиный, лицом красив, борода окладистая. И жена по всем приметам та самая. Живут бедно, в лавочку не должны, а есть слух, что стали должать хозяйке.

Должно быть, они самые. Отправился туда.

— Дома чиновник Рукавишников?

Знаете, домишко самый беднейший, весь-то и с двором трех тысяч не стоит, дворника нет. Спрашиваю стряпуху.

— Барина, говорит, нет, он каждое утро бегаёт искать должности какой не найдет ли, или так работы. А барыня дома.

Ну, думаю, оно и лучше, что его нет: переговорю с хозяйкою, не знает ли она чего, чтобы еще не влопаться мимо да в лужу: может быть, ведь, и не они.

— Нет, я говорю кухарке, с молодой барыней мы после поговорим, а прежде ты проводи меня к своей барыне.

Ну, женщина немолодая, неглупая, сначала было переконфузилась, потому что, точно, женщина небогатая, с нашим кругом не имеет знакомств.—с какой стати пожаловал?—Но поразговорились, увидели друг в друге благородных людей, у ней разожглось это, знаете, подозрение, не волокитствовать ли я хочу, стала говорить откровенно.

Точно, говорит, я могла заметить из их разговоров, что тут что-нибудь не так. В паспорте прописаны имена Павел Андреич и Марья Степановна, и они сами при мне так называют друг дружку и в разговорах со мною, и с кухаркою, а оба, мы несколько раз слышали, что она его зовет Гриша, а он ее Зина. Но, говорит, такие прекрасные молодые люди, и не только я, даже Агафья так их полюбила, что мы не подаем им никакого вида, что у нас есть подозрение; а тем больше, чтобы стали мы говорить кому об этом,—а ваше дело дружеское, то перед вами открывать считаю не болтовнею.

Когда она сказала мне это, я сейчас справку по письму: так, молодой Гусев—Григорий, значит, не оставалось сомнения. Но я все-таки говорю:

— А нельзя ли мне взглянуть на нее, незаметно для нее?

— Можно, говорит, пойдете, я скажу ей, что вы осматриваете все комнаты, потому что хотите снять мой домишко под свою канцелярию.

— И то дело, говорю.

Пошли. Точно, молодая женщина, лет 19 или 20,—на генеральшу Назаренкову в девицах мало походит, потому что я был в ту генеральшу влюблен, и в девицах и в генеральшах, значит, подобных ей нет на земле; но если бы другой посмотрел, сказал бы: точно, для краткости в описании можно сказать, что есть сходство.

Хозяйка ей об'яснила, по какому случаю я тревожу ее своим входом,—я прибавил от себя извинение. Она отвечала, я еще, она тоже. Видит, что я заговариваю, попросила садиться. Поговорили минут с пять. Я, чтобы не было опять и у ней какого-нибудь мнения обо мне, не стал сидеть, раскланялся, ушли опять к хозяйке. Теперь уж не было сомнения, что точно удалось отыскать настоящую парочку. Узнавши от хозяйки, когда застать его, приезжаю на другой день.

— Дома Рукавишников?

— Дома, говорит кухарка.

Прекрасно.

Вошел. Сидели, обнявшись, как нежные голуби, ворковали, вскочили, она покраснела.

— Прошу извинения, сударыня, но по делу, и, как надеюсь, увидите, не такой человек, чтобы вы меня конфузились. Позвольте мне поговорить сначала наедине с вашим супругом

который ничего не может услышать от меня, кроме приятного для вас и для него.

Они, знаете, занимали две комнаты. Она ушла. Я к нему, знаете, без больших предисловий.

— Ваше имя—Григорий, не так ли? Поверьте, что я руковожусь не чем иным, как искренним расположением.

— Позвольте мне ближе узнать цель вашего вопроса?— он говорит.

— Извольте,—я говорю. Я—бывший сослуживец отставного капитана лейб-гвардии Гусева, живущего в своем поместье, в Бугурусланском уезде.

— Очень приятно,—он говорит:—я слушаю вас,—говорит.

— У него есть сын, Григорий. Этот молодой человек увез девушку, жениться на которой отец не позволял ему,—поэтому, повенчавшись, молодые уехали в Петербург; у них не было денег, они должны нуждаться; но они совершенно ошибались, не надеясь на примирение со стариком и старухой Гусевыми. Старик от имени своей жены и своего просил меня найти сына, уверить его в их родительской любви, пригласить их возвратиться.

— Все это очень любопытно,—говорит молодой человек.— Признаюсь, я слушаю вас с большим интересом. Прошу вас, продолжайте.—Сам заметно меняется в лице, но с бодростью; к лучшему, будто мои слова оживляют его.

— Я кончил,—говорю я.

— Кончили?

— Да,—говорю.

Он вдруг вспыхнул и побледнел. Долго молчал,—видно было, что борется с собою. Потом с усилием проговорил:

— Вы ошиблись, милостивый государь. Я—не Гусев.

— Я забыл договорить: я имею в руках деньги от старика, моего приятеля.

— Я это понимал, милостивый государь. Но я—не Гусев.

Разумеется, мы говорили громко; что я пожелал быть наедине с ним, так ведь это больше только форма. Как он сказал это во второй раз: «Я—не Гусев», она как будто застонала в той комнате.

— Не к чему это,—я говорю, знаете, уже строго, как пожилой, опытный советник:—Вы слышите,—я говорю,—пожалейте ее; из пустой щепетильности нечего скрываться. А если вы сомневаетесь, то совершенно напрасно.

Он—свое:

— Вы ошиблись. Я—не Гусев.

— Но вы не Рукавишников.

— Если вы это знаете, то—да: надеюсь, что не обратите во вред мне это сведение.

— Не о том разговор, чтобы я стал вредить, а берите деньги, да поезжайте с богом.

— Не могу, потому что я—не Гусев.

Я уже вовсе с досадою говорю ему:

— Вы жестокий упрямец. Пожалейте вашу жену.

Он закрыл глаза рукою, и опять с большим усилием сказал:

— Ну, пусть она решает сама. Зина!

Вошла она.

— Ты слышала—решай.

— Он—не Гусев, и мы не можем взять ваших денег.

Я попытался урезонивать ее,—нет, тоже уперлась. Бросил, ушел. Рассудил так: видно, еще не пробрала нужда до костей. Подумайте, потерпите, друзья: через месяц будете поразумнее. Сказал им, что—вот мой адрес, но что если ему не будет времени увидеться со мною раньше, то я сам понаведаюсь недели через две, а лучше, заехал бы он пораньше, да и взял деньги. С тем и простились.

Приезжаю через две недели, хозяйка говорит:

— С'ехали с квартиры, боялись.

— Куда же?

— Не велели сказывать.

— А вы все-таки скажите, а то и без вас найдем,— в первый раз нашли же, во второй тем легче.

— Нет, теперь будет помудренее, потому, что теперь уж не в Петербурге искать.

— Ну, вот, и проговорились; так уж досказывайте.

— Точно, выехали; а куда, все-таки не скажу.

Я потолковал с нею еще, опять уверил, что желаю им пользы; она призналась, что они остались ей должны рублей до пятидесяти. Разумеется, плакалась при этом на свое сиротство. Я на этом и уловил ее.

— Если скажете, куда они уехали—отдам их долг.

Она поддалась.

— Скажу: но так не умею, потому что уезда и села не помню, имена-то мудреные, а память плохая. Принесу вам адрес.

— На этом нельзя обмануть: нет, прежде принесите адрес, тогда и деньги получите.

Дело не стало у ней за адресом: на другое ж утро принесла записку,—но вышло такое подозрительное обстоятельство, что я очень усомнился: возвратившись, моя чиновница запела уж совсем не тем тоном, как вчера.

— Я, говорит, не хочу вас обманывать; эту записку я написала было для вас обманом; они вовсе не уехали из Петербурга, здесь они; но так запрятались, что во веки веков не отыщете, и контрамарку сдали, что выезжают из Петербурга. Кроме меня ни через кого не найдете дороги к ним. А, точно, чрезвычайно нуждаются. Теперь не откажутся от ваших денег. Давайте, я им отдам.

— Да я сам отдам.

— Нет, давайте мне.

Не очевидное ли мошенничество старухи?

— Нет, матушка, я не отдам денег иначе, как из рук в руки. Обиделась:

— Ох, говорит, вы не доверяете мне. Как это вы так можете меня подозревать? Я тоже хоть не генеральша, а штаб-офицерша, надворная советница. Это для меня очень обидно.

— Напрасно, я говорю, обижаетесь, а, впрочем, как угодно. Не моими деньгами не могу располагать по своему доверию, а должен отдать в руки тому, кому присланы.

Знаете, и я-то уж прилгнул немного, потому что никаких денег еще не было прислано мне от его отца,—ну, да это так всегда говорится. С тем и ушла.

Опять послал своего Игнатия Трофимыча. Нет никаких следов. В полицию действительно показано, что выехали из Петербурга. Справлялись во всех кварталах—нигде не вписаны прибывшими Павел и Марья Рукавишниковы. По улицам ходили, смотрели, по лавочкам дознавались, все сделали, что можно,—нет. Через неделю воротились, говорят:

— Нет, не имеем никакой надежды.

Меня, знаете, взяла совесть, а больше досада: как же, осрамиться перед старым приятелем в таком деле?—Были птички в руках, да вылетели; на что это похоже? Дай, думаю, попробую с этой старухой повозиться—может быть, и усовещу, урезону. Поехал.

Что ж, господа,—страм сказать: она меня кругом оплела,—смотрю я на нее, и думаю: не дурак же я, и не слепой же я в самом деле: честная женщина, хоть зарежьте меня, честная женщина—не похожа на мошенницу. Взял, да и отдал ей 500 рублей.

— Отдали?

— Да, отдал,—говорю: „передайте, верю вам“.—И даже признаюсь вам, если бы спросила больше, то и больше дал бы: вижу, что честная женщина, не мошенница. И отдал.

— Но это непростительно.

— А что прикажете делать? Сам понимал, что делаю глупо. Но не сказывает их адреса, а по разговору, по всему—благородная женщина. Я и сказал ей:

— Глупо поступлю, но извольте: отдам вам деньги.

А она, знаете, как ни в чем не бывало:

— Да у вас, батюшка, достаточно ли денег-то? Им пятьсот понадобится, потому что они здесь позадолжали.

— Извольте вам 500 рублей.

Вынул, положил и с тем ушел. Даже расписки не взял у нее, такое доверие нашло на меня.

И знаете, как это даже странно: сам отдаю, а сам думаю: хорошо, что не больше пятисот пропадет.

— Надобно сказать, действительно вы поступили странно.

— Одним словом, отличился. Но ведь вот есть же такие люди: умеют внушить доверие.

— Не лучше ли сказать: есть же такие люди, которых так легко обманывать?

— Как не быть. И остался в уверенности, что отдаст она им. То-есть, как вам сказать?—не в полной уверенности, но все-таки ждал письма от своего сослуживца, что, дескать, благодарю, дружище, и с признательностью возвращаю тебе пятьсот рублей, израсходованные тобою. Сам понимаю, что смешно это, а жду. Ждал с месяц.

— Прекрасно!

— Да с, ждал месяц. Но, однако, чувствовал, что глупо, потому совестился и ему писать, и вот больше года молчал передо всеми.

— Напрасно. Вот вы рассказали, то каждый из нас подержит вас: на теряйте надежды, продолжайте ждать.

— Нет, господа, теперь не жду, потому что получил.

— Получили?

— Да-с, а то стал бы рассказывать! Значит, все-таки не такое же глупое ослепление было мое доверие к этой старухе. Но, натурально, совсем не то. Какую ж она удрала штуку,—замысловато. Совсем не то, что казалось. Умная женщина.

Через полгода после этого, или и раньше, мой Гусев, старик-то, пишет мне, что благодарит меня за мои хлопоты, потому что они все-таки остались бесполезными, хотя я сам и не мог найти его сына,—натурально, я ему написал, что не нашел,—хоть отчасти и прилгнул, но и не то, что прилгнул, а только утаил—согласитесь, совестно же было написать: „нашел, да упустил“.—Итак, говорит, хотя сам ты, дружище, не нашел, но как ты расспрашивал и говорил, то слух дошел до моего сына, и он написал, правда ли, что я прощу его, и по моему ответу—возвратился, и имеем теперь милую дочь. за что благодарю и тебя“. Вот как! Возвратились, помирились.—слава богу.

Что ж еще через полгода или больше,—то-есть, не дальше, как третьего дня --получаю я письмо такого содержания, что, говорит, „искушение было слишком велико и страшно, и у меня недостало силы характера, но не спешите винить меня: эта женщина устроила так, что мне почти не было возможности отклонить ее предложение“.

История вот какого рода, в коротких словах. Совершенно такой же случай. Молодые люди повенчались тихонько от родных и ускакали; только разница та, что из богатой-то фамилии она, а у него—ни гроша, ни даже дворянства, что еще важнее, потому что те—очень гордые: и так и не простили дочь до сих пор и даже стараются делать неприятности. Он думал найти что-нибудь в Петербурге. Конечно, сразу нечего не найдешь: продали ее два шелковых платья—двенадцать рублей,—но не

это—главный ресурс, а когда бежала из дому, в ушах были очень хорошие серьги,—забыла их снять, они тоже помогли, но все-то рубл ъ двести, не больше. Ну, а сначала-то была надежда, и в театре бывали: „Как же, Зина, надобно хоть раз побывать в опере“. Через три месяца из полторасти рублей не осталось ничего,—с 150 рублями приехали, продавши в Москве серьги-то. Стали долгагь, раздумье пришло, места нет, бюджет ли, нет ли, через полгода ли, через год ли, а покуда 15 рублей жалованья; плохо, знаете. Очень. И вот в эту-то минуту подвернись я с своим Гусевым, ведь надобно же прийти в голову такому вздору, что человек говорит: „Да вовсе я не Гусев“. А я:—„Врешь, мне надо Гусева, хоть переродись, да будь Гусев, по-моему“.

Что ж теперь старуха?—Теперь начинаются ее штуки. Видит она, что мне вступила дурь в глаза, и пристала к ним: да вы точно ли Рукавишниковы, а не Гусевы? Те говорят: точно, не Рукавишниковы, но и не Гусевы, а ну, я не могу сказать вам настоящей-то фамилии.

— Ах, какой же вы! Когда есть секрет, то нечего было рассказывать; а нет, так почему не сказать фамилию?

— Ну, знаете, все как-то неловко. Нет, уж лучше не скажу, хоть точно, что ничего такого нет. Вот, когда они рассказали ей все, уж и стали говорить, он-то:

— Я раскаиваюсь, что поехал в Петербург; вот в такой-то губернии мой товарищ и приятель—правитель канцелярии, он бы сейчас доставил мне место.

— Так и поезжайте, батюшка, с богом.

— Да вы сами видите,—он говорит,—с чем мы выедем?

— Так вы, батюшка, взяли бы у него деньги, было бы вроде займа, обяснили бы после, заплатили бы.

— Что это вы, как это можно? Эго подлость!

— Точно, говорит, подлость, извините меня, батюшка, я—женщина необразованная.

Но дня через три; через четыре говорит им:

— Признаюсь вам, что для меня это очень обременительно не получать от вас денег.

Нечего делать, с'ехали; рады и тому, что согласилась выпустить, поверила их слову, что расплатятся при первой возможности. Она им и квартиру указала—у своей знакомой, подешевле, и знакомой поручилась за них, а сама к квартальному,—очень хороший человек, по ее словам (я вчера заехал к ней, посмеяться и в шутку извиниться, что считал ее обманщицею), она с ним знакома, обяснила ему свою штуку и упростила попридержать контрамарку недели две—три, — словом, обработала все, да и ко мне. Получивши от меня деньги,—к ним.

— Вот вам,—говорит —поезжайте к своему правителю.

„Согласитесь же, милостивый государь, пишет он мне, что искушение было слишком сильно, и не осуждайте меня строго.

Я взял деньги. Я знал, что они ваши,—как было не догадаться? Хотя она и очень осторожна была, но было же видно, что это ваши деньги. Я только оболещал себя успокоением, пустоту которого сам чувствовал, что эти деньги взяты у вас не обманом“. Прибавляет, что просит извинения, что и теперь не может возратить всех—прислал триста рублей. „На остальные двести, говорит, хочу остаться вашим должником, а не чьим-нибудь, чтобы исключительно вам быть обязану до конца; надеюсь, через полгода пришло и остальные 200 рублей“.

Вот удивился-то я, прочитавши! Не утерпел, поехал к ней.

— Ну, вам бы не в юбке ходить, а быть министром,—я ей сказал (право: министром быть бы этой старухе,—могла бы, могла бы!).

— Да,—батюшка, говорит, точно, голь на выдумки хитра. И их-то жаль, и самой-то тяжело: за квартиру - когда с них получишь? А полюбила их,—и мало того, что за квартиру не получаю ничего, почти что на всем моем содержании жили, и уж рублей до сотни было моего долгу на них. Что ж мне было, как не схватиться за этот случай? Думаю: удастся—хорошо, не удастся—нет убытку. А оно и удалось.

— Да, я говорю, нашли дурака. Вот и досадно: ведь дурак, согласитесь.

— Да, странно, что вы позерили ей деньги.

— Да-с, поверил. Так иногда покажется человек. И еще удивительнее, что не ошибся: потому и стал теперь рассказывать, а то молчал.

— Точно, все-таки, развязка извиняет вас.

— Да-с, не совсем, однако же, слеп. Коли вижу, что честная женщина, то уже значит, что точно. Так и вышло против всякой надежды, а вышло.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ.

---

# Накипь.

## I.

**Я** давно-о говорил: не может так продолжаться!.. Противоприродно это! Вы посмотрите, что вышло из этой свободы? А-африка какая-то! Народ одичал. Запаршивела Россия! А ведь импе-е-рия! Вели-и-кая держа-а-ва была!.. Захожу, знаете, как-то в Губпродком этот. Курьер ча-ай товарищам разносит. В эдаких... ммм... немытых, знаете, жестиных кружках... Вдруг оборачивается ко мне, да: „здравствуйте, Викентий Александрович!“ Смотрю я и глазам своим не верю... Как вы думаете, кто-о?—

Викентий Александрович вскинул брови, собрав гармоникой на лбу кожу, и выдержал паузу. Маленькие, заплывшие глазки его выразили скорбь.

— Тишинский! Вячеслав Константинович Ти-шинс-кий! Това-а-рищ прокуро-ора! Вот вам! Курьером! Чай товарищам подае-ет! Так мне, знаете, обидно стало. Подсыпать бы им в чай-то чего-нибудь такого!.. Да-а!.. Еще лучше со мной было. Зимой этой получаю повестку: снег чистить!.. Это мне-то?! Это я—хирург-то! „Вы,—говарю,—товарищ, вероятно ошиблись! Я—хиру-ург“. А он: „теперь все равны!“...

Виктор Александрович неопределенно пожал плечами и сделал кислое лицо.

Ему не хотелось договаривать до конца...

Повестка была прислана по ошибке!

Телепнев знал это, но сочувственно вздохнул в тон Викентию Александровичу:

— Да-а... Нелепость стра-ашная!..

Чай заваривал Викентий Александрович из массивной серебряной чайницы. Делал это со вкусом, неторопливо. Заварив, тщательно нахлобучил на чайник пестрого бисерного петуха.

— До-ом собственный, вы-езд... А как же без выезда? Больной не ждет!

Викентий Александрович повел рукою вокруг.

— Прежде чем вот все это... де-сять лет земским врачом трубил! А то ка-ак же! О-ой, как это тру-удно!—вздыхнул он,—очень нелегко... Обиднее всего так это... простота-а, обыкновенность, с какой все разрушается. Как будто ничего и не было! Словно пуговицу у штанов—чик! оторвали и выбросили... Вам покрепче? Чай хоро-оший, ста-арый чай! Большая принесла, в подарок...

Когда были налиты два стакана чаю, и чайник снова исчез под бисерным петухом, когда был положен сахар, придвинут графинчик с вишневым морсом,—Викентий Александрович, наваливаясь на стол животом и вытянув шею к Телепневу, таинственно спросил:

— Ну, что... там?

В его лице, в неморгающих глазках, в выпятившейся вперед бородке было мучительное, почти сладострастное, любопытство. Всем существом устремился он к сидевшему напротив Телепневу и в этой устремленности замер. Как соглядатель у щели.

— У вас запонка упадет сейчас!—сказал Телепнев.

Викентий Александрович не успел шевельнуться.

Оглушительный грохот потряс стены. Задрезжали стекла. Над столом с тихим звоном закачалась люстра.

В напряженном молчании смотрели на одно из окон, как бы ожидая, что вот-вот, через это именно окно, ворвется в столовую неведомое, страшное и смертельное.

Затаив дыханье, боялись пошевелиться.

И важно и размеренно ходил в тишине столовой маятник больших, старинных часов.

— Так-и-так... так-и-так... так-и-так...

— Что это?—шепотом спросил, наконец, Викентий Александрович.

— Вероятно бомба!—неестественно громко проговорил Телепнев и подошел к окну.

— Бо-о-мба-а!?—протянул Викентий Александрович. На ципочках подойдя к двери, он плотно прикрыл ее.

— Кто же это бросил? Должно быть, бли-изко?

Из-за плеча Телепнева он осторожно заглянул в окно и, понижая голос до шепота, спросил:

— А, может быть, уже пришли? Как вы думаете, а?

---

В полночь, осторожно постучав, в комнату Телепнева вошел Викентий Александрович.

Он был в одной сорочке, без воротничка и без жилета. Какие-то стружки и—не то пух, не то паутина—торчали в бороде. В руках он держал клочок бумаги.

— Не спи-и-те?—протянул он вкрадчиво-ласковым голосом, каким обыкновенно разговаривал с больными.

— Вы вот, Арсений Павлович, не верите в предсказания... Конечно, могут быть совпадения... Вот... Посмотрите-ка!

На клочке бумаги было написано:

„Молот, серп“.

Телепнев, недоумевая, посмотрел на Викентия Александровича.

— Не понима-аете?

— Нет!

Викентий Александрович многозначительно улыбнулся.

— А вы наоборот... наоборот прочитайте!

— Пре-сто-лом,—прочел Телепнев.

— Ну, вот! Видите! Этим все и кончится! Престо-лом. Вы, я знаю, опять совпадение, скажете. Не согласитесь, конечно! Социали-ист... А я, знаете, человек суеверный. Я ве-рю!

— А правда, стр-а-анно—подумал Телепнев, но не сказал ничего и не определенно улыбнулся.

— Одно к одному, знаете,—говорил Викентий Александрович, запрокинув голову и громко почесывая под бородой:— вы вот тоже не верили... Говорили, что не придут. Помните? А вот уж почти и пришли! Теперь и за границу поедете... Я к вам, знаете, зачем пришел? Помогите мне убрать... ммм... так, шкатулочку одну... Пустяки там!

— А не бойтесь, что я донесу?—пошутил Телепнев.

На одно мгновение испуг насухо выжал с лица Викентия Александровича невинное добродушие. Но он тут же улыбнулся и вкрадчиво-ласково затянул:

— Что вы, Арсений Павлович! Зачем вам доноси-ить? Вы не донесе-ете... Да и некому теперь!

— Товарищи-то все удра-али,—добавил он шепотом.

В вестибюле, отодрав обшивку лестницы, Викентий Александрович мучительно вползал на животе в темную дыру.

— От кого вы прячете? Ведь казаки, а не товарищи!—говорил Телепнев, просовывая в дыру шкатулку.

— На всякий, знаете, случай,—глухо из-под лестницы отзывался Викентий Александрович, в ней ничего особенного нету... Та-ак, пустяки! Безделушки ра-азные... На всякий случай!..

## II.

Весело и четко пробежал по заре торопливый стук пулемета.

С первыми лучами солнца казаки вошли в город.

Густой, медленно движущейся массой они заполнили улицу, прямую, как туго натянутая нить, и делившую город на две части. С трехцветными значками на пиках, со свернутыми знаменами они в молчаньи подвигались сотня за сотней. Мягкий и глухой гул копыт по немощеной улице был, как сеткой, накрыт разнозвучным бряцаньем уздечек и оружия.

Сожженные ветрами и солнцем, лица были сосредоточенно-хмуры. Зоркие глаза подозрительно всматривались в кучки горожан, толпившихся у ворот и подъездов.

Рыжебородый казак на гнедом коне, поравнявшись с Телепневым, выразительно вывернул нагайкой и сверкнул из гущи усов и бороды ослепительными зубами:

— Жиды есть?

Телепнев вздрогнул и растерянно улыбнулся в ответ.

Казак проехал. Вероятно, о том же спрашивал у следующей кучки, осаживая коня.

Телепнева поразило суровое молчанье проезжавших мимо всадников. Ни песен, ни смеха, ни шуток. Вглядываясь с жадностью в лица, он пытался найти в них горделивую радость победителей, и не находил. И казалось ему, все они и каждый в отдельности думали и никак додумать не могли одну единственную, общую всем думу:

— Враги!.. Но где? И... враги ли?..

Были налицо все признаки восстановления порядка и поправленных прав.

На фонаре, у городского сада, висел еврей.

Перед Губисполкомом горела грудa бумаг-дел. Золотушный юноша, в куртке телеграфиста, выхватывал папки из кип, выбрасываемых в окно, и громко выкрикивал:

„Дело № 17. Продовольственный план!“

Помахав папкой над головой, он бросал в огонь ее с восклицанием:

— К исполнению!

И по мере того, как огонь, обволакивая, скручивал листы, его курносое лицо расплывалось шире и шире в довольной, идиотической улыбке. Как струйки огня из дымившегося вороха, прорывались из рева и гюота толпы сожалеющие вздохи:

— Жалко, удра-али! Поджа-арить бы хоть одного здесь!

— Посмотре-еть бы, как... Эх!

Город, вчера пустой и тихий, как тонущий корабль,—теперь ожил и шумел. Горожане, с жадно-любопытными лицами, толпами бродили по улицам. Появлявшихся офицеров облепляли, как слепни.

— Что?! Что он сказал?

— В Петрограде восстание!

— Ну-у?

— В Москве англичане на аэропланах! Сам своими ушами слышал!

— Значит, коне-е-ец!..

— Такой коне-ец вам пропи-шу-ут!—мрачно замечали скептики, и трусливая опаска шмыгала по лицам.

Так уши у пса... То станут торчком, любопытные, то вдруг прилипнут, трусливые, к голове, будто и нет их.

На тройке разномастных, видно только что собранных, лошадей с гиканьем пронеслись пьяные офицеры. Один из них, в расстегнутом мундире, сидел на козлах за кучера.

— Ишь, сволочи!—громко сказал кто-то рядом с Телепневым. Телепнев оглянулся. Пожилой рабочий с ненавистью смотрел вслед уносившемуся экипажу. Заметив на себе взгляд Телепнева, обернулся и опасливым взглядом осмотрел его с ног до головы.

— Что вы смотрите?—улыбнулся Телепнев:—не бойтесь, товарищ!

Рабочий ничего не ответил и скрылся в толпу.

Две гимназистки, с косичками и в коричневых передничках, вынырнув из толпы, наткнулись на Телепнева и испуганно взвизгнули. У них были широко раскрытые глаза и странно возбужденные лица. Они крепко держались за руки.

— и веревочка то-оненькая-тоненькая!—донеслись слова одной из них, когда они торопливо переходили улицу, тычась, как слепые щенята, в прохожих.

Слова эти припомнились Телепневу у городского сада.

Почти касаясь земли пальцами босых ног, висел молодой еврей на фонаре, у входа в сад. Казалось, он стоит, вытянувшись на цыпочках, и что-то высматривает. Перехваченная тонкой бечевой тонкая, почти детская, шея была слегка перекручена. Петля, захлестнутая у левого уха, делала больно. Он был в одной рубахе. У посиневших ног лежала раскрытая книжка на еврейском языке.

— Эй, сапоги не хочешь купить?!

Спешенные казаки сидели на мостовой и примеряли сапоги из разграбленного склада. Один из них с добродушной усмешкой протягивал Телепневу пару сапог.

Сапоги были грубые, солдатские, с толстыми подошвами. Телепнев это заметил.

— По дешовке отдам! Сапоги важне-ецкие! Первый сорт! Может, мыла духовитого надо?.. Э-эх, ты! Жида удувленного не видал!! Мы их передави-или—т-емно!

Вечером город содрогнулся от взрывов.

Казаки взрывали на станции вагоны со снарядами, оставленные красными. В подожженных артиллерийских складах

затрещали пулеметные ленты и ружейные патроны. Гремящий поток полился над городом. Казалось, бесконечная вереница таратаек мчится где-то по мостовой. Все заглушая, врываются в этот трескучий поток мощные взрывы тяжелых снарядов.

На берегу реки пылали винные склады, выбрасывая огромные, красные полотнища огня и клубы черного дыма.

С утра начался разгром продовольственных складов, и к полудню весь город разлохматился в диком погроме.

Дома опустели. Дети и взрослые, отцы и матери и дряхлые старики, все ринулись в улицы. Сваливаясь в разноголовые ревушие своры, металась по городу. Из больниц вылезли больные. Бежали, шли, ковыляли на костылях, ползли на четвереньках, задыхаясь от усилий; полумертвые падали на улице и с завистью в потухавших глазах глядели вслед здоровым и счастливым.

Грабили в одиночку, парами, семьями, улицами. Тащили в мешках, подолах юбок, в шапках, в кастрюлях.

Пробка вылетела, и хлынула вон закупоренная душа обывательщины. Люд без подметок, люд бесцеланный, наглотававшийся до одури суррогатов, сахарину вместо сахара, сушеной моркови вместо чаю, истосковавшийся по куску яичного, семейного мыла, метался обалдело от мануфактуры к сапогам, от сапог к сахару, от сахара к муке, мылу, крупе... На перекрестках сшибались. Мануфактура с сахаром, ситец с мукой...

— Са-ха-ар! Го-го-го!

— Го-го-го! Ситец!

— Тыща пудов сахару!

— Настоящий, тот самый! Николаевский рафинад!

— О-го-го-о! На Гимназической сахар!

— Великолепный, белый, ста-арый!

Сталкивались, рвали друг у друга награбленное, выли, ухали. Перед мануфактурной лавкой казак торговал сукном. Поставленный „на поп.“ кусок разматывал, как катушку, и отрезал шашкой по требованию. Керенки и николаевские напихивал в бездонные карманы желто-лампасных шаровар.

— Подходи жи-иво! По красенькой, советских не беру!

— Братец, а, братец! Я деньги-то уплатила! Что же ты...

— Отидь!

— Да как же это, братец?!

— Отидь, говорю! Всем хватит!

Отмеривал на-глаз. Разматывал, ходя вокруг куска. Взмах-шашки — отрез исчезал в толпе.

— Товарищ! Мне, пожалуста, четыре аршина! — протискалась к казаку вежливая шляпка.

— Что-о?!

— Четыре аршина, товарищ...

— Я тебе вот сейчас тако-ого товарища загну! — свирепо зарычал казак, поднимая голову.

— Какие они товарищи! — лстыиво запела кашемировая старушка, отбиваясь локтями от наседавших баб: — теперь товарищ-ей нету-у! Товарищи ко-ончились!. Мне братец, десять, десять аршинчиков! Вот я и денежки приготовила... Все настоящие, керенки, хоро-ошие! Десять, батюшка, десять!

— Все! — весело крикнул казак, подававший из магазина штуку за штукой.

И лишь только оба казака отошли от магазина, толпа с ревом бросилась в раскрытую дверь и к окнам. Со звоном лопнули стекла. Кто-то пронзительно вскрикнул. В дверях мгновенно образовался клубок тел, глухо рычавших, бьющихся, стонущих. Визжали женщины. Разбитые стекла резали в кровь лица и руки. С руганью били по голове друг друга.

Давно усвоенная, упорно живучая мысль о припрятанных большевиками запасах, выперла теперь наружу и, застряв в узких дверях лавки, извивалась и билась, порываясь к неведомым богатствам.

И, не найдя, злобно коверкала и била все, что попадалось под руку. Разбивала уцелевшие стекла; в щелы крошила прилавки и ящики и с ревом и воем катила от одной лавки к другой.

— О-го-го-го-о!

— У-у-у-у!

С таинственной быстротой весть о погроме перекинулась в соседние деревушки.

По кочкам проселочных дорог мчались мужицкие клячи. Бородатые крестьяне свирепо гнали заморенных лошадей в страхе опоздать и не захватить. С скрипучим грохотаньем прыгали по кочкам телега за телегой. С ударами кнута и палок по костлявым крестцам падала матерная ругань. Ветер дыбил косматые головы и бороды; срывал картузы; трепал на бабах платки и повязки. Глаза жадно впивались в черные столбы дыма над городом. Ухо жадно ловило в оглушительном грохоте рвущихся снарядов отдельные могучие взрывы. И волосатые рты растворялись в загадочной усмешке.

— Вот она а!

Всадники без седел, цепко замкнув кривыми ногами пенные, вздувающиеся бока лошадей, проносились, обгоняя подводы. Падая и задыхаясь, бежали пешие. А навстречу уже тянулись еще более усталые, но радостные и возбужденные счастливыцы с мешками и тюками на все уносящей, ширококостной спине.

— Бра-атцы, поспею?!

— Валяй! Всем хватит!

И рычало звериное:

— И-ы-хх, стерр-ва!

Град ударов рушился на спину кляч. Загнанные, из последних сил, с испуганными глазами, налитыми слезами и кровью, неслись они, спотыкаясь, вперед, туда, где нависали густые,

черные дымы, где грохотало и гулко ухало и до самого неба взметывались огненные столбы.

### III.

Нечеловеческим усилием Вячеслав Константинович вытащил себя из клокочущей гущи тел и, красный, как морковь, очутился в переулке.

В правой руке у него был зажат полосатый мешочек.

Окинув глазами пустынный и тихий переулок, Вячеслав Константинович переложил мешочек из правой руки в левую и в воздухе покрутил отекшими, чужими пальцами. Потом осторожно раскрыл мешочек, заглянул в него и двумя пальцами вытащил оттуда большой синеватый кусок рафинада.

На одутловатом лице появилось нечто вроде улыбки.

Некоторое время в молчании он рассматривал сахар близорукими, бесцветными глазами. И вдруг, быстро нагнувшись, лизнул его.

Рафинад был настоящий...

В беззвучной улыбке раздвинулись тонкие, бескровные губы, и в это же время, над самым ухом, неожиданно скрипнул тихий смешок.

— Хи-хи!

Вице-губернатор пристально смотрел на ромбический кусок сахара и дрожащей, давно испуганной рукой поглаживал себя по груди.

— Ра-фи-над!

Вячеслав Константинович повертел куском и повторил, как эхо:

— Рафинад!

— Рафинадец!

Вытягивая из крахмального воротничка куриную шею, вице-губернатор пытался заглянуть в полосатый мешочек и лез туда скрюченным указательным пальцем.

— Ра-фи-на-адец! Хи-хи!

И, замолчав, подумал и скрипнул:

— Сами виноваты-с!

Вице-губернатор пошел налево. Вячеслав Константинович — направо. Пройдя шагов двадцать, они одновременно обернулись. И в один голос друг другу напомнили:

— Вечером - к Викентию Александровичу!

Вячеслав Константинович жил в том же доме на Почтамтской, где жил до революции, когда был товарищем прокурора. До революции — пешком он ходил редко; прокатывал по Почтамтской в рессорном, на рыжем рысаке, с широкозадым Пангелеем на козлах. После революции Почтамтскую он старался прошмыгнуть, приликая согнуто к стенам и заборам и старательно рассматривая что-то у себя под ногами...

Теперь он шел перпендикуляром, со строгим, значительным лицом и прямо устремленными глазами.

На углу Почтамтской таинственная рука уже сняла красную дощечку с надписью: „Интернациональная“, и „Почтамтская“ красовалась, как прежде.

— Милая Эллен, мы муж и жена, соединенные законом!— сказал он, придя к себе. Положил полосатый мешочек на колени Елены Игнатьевны, сидевшей на диванчике, и поцеловал у нее руку.

С очень выпуклыми глазами и большим, расплывчатым ртом, Елена Игнатьевна изумленно на него посмотрела.

С тех пор, как произошла ужасная революция, Вячеслав Константинович перестал замечать существование Елены Игнатьевны. Елена Игнатьевна даже жаловалась в письмах к генеральше-тетке, выдавшей ее когда-то за бедного следователя.

„Он стал совсем, совсем другим... Он даже разговаривать не хочет со мной. Неужели и он стал ужасным революционером?“

— Терпи!— дипломатично отписывала генеральша и думала о том, что некрасивая Эллен похожа на ту большую жабу, которая однажды напугала генеральшу в саду, во время прогулки.—Теперь время такое... Все честь потеряли!

Как-то в минуты тоски, Елена Игнатьевна, не выдержав, воскликнула: „Боже, как ты изменился, Вячеслав!“

Вячеслав Константинович зло посмотрел на жену и, схватив с туалета зеркало, быстро подошел к ней.

— Да-с! Я изменился! Но вы-ы... Извольте посмотреть! Чу-учело! Понимаете? Чучелом были, чучелом и остались!

Все это мгновенно припомнила Елена Игнатьевна.

— Да, Эллен! Наша жизнь была и останется примером!— проговорил Вячеслав Константинович и выразительно посмотрел на образ в углу.

Взглянула и Елена Игнатьевна.

Образом этим она была благословлена на замужество. Две венчальных свечи в цветах были за стеклом киота.

И внезапно душа Елены Игнатьевны наполнилась нежностью. Все прощая, она в порыве умиления потянулась к Вячеславу Константиновичу.

— Ми-илый...

Полосатый мешочек сполз с колен и несколько кусков сахара разбежались по полу.

— А-ах, саха-ар!—растерянно и изумленно всплеснула руками Елена Игнатьевна.

Злые огоньки вспыхнули в бесцветных совиных глазах Вячеслава Константиновича. Но он сдержался и наставительно сказал:

— Нужно быть осторожнее, дорогая Эллен!

Стоя на коленях, он собирал куски, сдувая с них пыль. Когда собрал—долго и тщательно чистил бѣлки, запачканные на коленках.

— Человек, увлекаемый порывом, подобен кораблю, утратившему своего кормчего, Эллен!

— Ну, не сердись на меня!—проговорила Елена Игнатьевна, двигая широким ртом:—я не зна-а-а!..

— Я поэтому и говорю... Человек наделен разумом и должен предполагать там, где не знает. Разум—это и есть кормчий, ведущий и направляющий наши поступки. Слушаясь его, мы смело и уверенно идем самыми опасными тропинками. Наши ошибки и промахи не что иное, как леность ума или безрассудные увлечения сердца. Бог дал нам разум в отличие от неразумных тварей. Увлекаясь, мы оскверняем разум, а оскверняя разум,—мы оскверняем всемогущего.

Вячеслав Константинович тщательно завязал тесемочкой полосатый мешочек и прикинул его на руке.

— Фунтов десять будет?—вопросительно посмотрел он на Елену Игнатьевну.

И вдруг задумался. Светло-рыжие брови насупились, почти закрыв белесые круглые глаза. Плотно сомкнулись тонкие бескровные губы. Он медленно повернулся к Елене Игнатьевне и торжественно произнес:

— Мы переживаем великие дни!

Елена Игнатьевна выпукло глядела на него с диванчика и боялась пошевелиться. Ее лицо приняло молитвенное выражение.

— Сбываются грозные слова апостола Павла: „Не обманывайтесь! Бог поругаем не бывает! Ибо что посеет человек, то и пожнет!“

Вячеслав Константинович поднял вверх правую руку и угрозно потряс ею.

— Люди без роду, без традиций, в безумном ослеплении посягнули на вековые устои, освященные историей. Пролилась чистейшая кровь мудрейших государственных людей, отдававших жизнь свою высокой идее служения родине, в целях ее возвеличения и славы. И вот—карающая рука опускается на преступные головы. День близок, когда неллицеприятный суд человечества скажет свое суровое слово!..

— Ты будешь прокурором, Вячеслав?—вырвалось у Елены Игнатьевны.

Вячеслав Константинович сурово взглянул на нее и не ответил. Прямой, как карандаш, передвинулся в угол к гардеробу и оттуда, не оборачиваясь, спросил:

— Где мой сюртук?

— Какой? В котором ты раньше в суде?..

— Я приглашен сегодня на официальный ужин к Викентию Александровичу Светозарову. Там будет командующий дивизией и гражданские чины... Я надену сюртук.

— Он в сундуке...—засуетилась сразу Елена Игнатьевна.— Я его сейчас вычщу и проветрить надо!

— И проветрить, да!—согласился Вячеслав Константинович:—ты понимаешь, Элен,—завтра ты можешь быть женой прокурора... Да!

#### IV.

Казачий штаб помещался за городом на кладбище, в доме священника.

Уже вечерело, когда Телепнев добрался до него.

Двое казаков выносили из дома чемоданы и узлы и укладывали на телегу. Рядом — другая телега, нагруженная кусками материи, кожами и ящиками.

В просторной комнате у стола сидела пожилая дама в шелковой черной мантилье. У нее было заплаканное лицо. Перед ней стоял старый генерал и что-то тихо говорил. У ног дамы, на полу, лежали чемоданы и картонки...

Навстречу Телепневу вышел молодой полковник с быстрыми, пронзительными глазами. Он был одет в английскую форму. Правую руку держал в кармане брюк.

— Вам что угодно?

Спросил холодно и вежливо, подозрительно всматриваясь. Его тон сразу, как непроницаемая переборка, отодвинул куда-то Телепнева, и он, чувствуя, как шарят по нем острые быстрые глаза, смущенно проговорил:

— Я хотел поговорить...

Полковник чуть улыбнулся.

— Я слушаю.

— Я хочу записаться в добровольцы..

— Вы офицер?

— Нет.

Полковник помолчал.

— Служили в армии? —

— Нет! Я был политическим эмигрантом,—начал Телепнев, приготовляясь рассказать о причинах, приведших его в штаб, о своих переживаниях и сомнениях, но полковник перебил его коротким и быстрым вопросом:

— Социалист?

В его голосе послышалась Телепневу усмешка. Он ярко ощутил ненужность всякого разговора, но вместо того, чтобы прекратить его, опять сбивчиво заговорил:

— Видите, полковник... мне кажется, политические убеждения... Вы понимаете, что теперь...

И опять полковник не дал ему говорить.

— У нас боевая часть и специальные задачи. Мы избегаем политиканов.

— Позвольте, полковник! Политиканы...

— Если желаете,—не слушая, продолжал полковник,—здесь где-то хотят формировать добровольческий батальон... Обратитесь туда. И, прошу извинить,—я очень занят. Честь имею!..

Полковник круго повернулся и исчез.

Медленно брел обратно Телепнев по темным окраинам. На душе было мерзко. Он в сотый раз припоминал весь разговор, каждое слово, интонацию... и ему было оскорбительно стыдно. Как будто ему отказали в милостыне, за которой он в первый раз в жизни протянул руку.

Идя в штаб, он думал, что его встретят там с распростертыми объятьями. В голове у него складывались целые речи; ему казалось, что он один из тех, кто призван вдунуть „душу живую“ в эту борьбу...

— Мы избегаем политиканов...

Эта фраза запомнилась.

## V.

За опустевшим столом оставались двое: вице-губернатор и Никита Сомов, случайно забредший к Викентию Александровичу и попавший в „самую точку“, как говорил он. В точку он попадал всегда, таинственными путями узнавая о всяком обеде, ужине, вечере или картежной игре.

Навалившись широченной грудью на стол, огромной тушей восседал Никита Сомов среди недопитых рюмок и бокалов, над тарелками с недоеденными кусками и воткнутыми в них окурками. Вывернув по столу вперед заплатанные локти, он ворочал налитыми кровью глазами и сипло гудел:

— Все па-анимаем! Насквозь! Не обманешь, не-ет-с! Мой батюшка тридцать лет предводителем были, да-с!

Все выпитое за ужином будто теперь только начинало лезть в голову ему и мутило мысль. Будто теперь только все разговоры и речи за ужином дошли до его сознания.

— Никаких учрр'дительных комитетов! Шиш с маслом! В ба-рраний рог и никаких гвоздей! Понимаешь, Павел Петрович? В ба-рраний рог закр-р-ру-чу-у...

Никита Сомов свирепо заскрипел зубами.

— Нет, говоришь? Меня вся Россия знает! Кто идет? Никита Сомов идет! Ты знаешь, кто я? Меня в Европе каждый негр знает!

Вице-губернатор шмыгал вокруг стола.

Как мародер, он шарил по залитой вином скатерти, собирая куски сыру, колбас и другой уцелевшей снеди; лржащими, испуганными руками ронял на пол куски, поднимая их и завертывая в бумагу, поскрипывал:

— Сами виноваты, Никита Федорович! Сами виноваты!

— Князя Пожарского знал? Говори—знал?—гаскатывался Никита Сомов:—теперь я—Никита Сомов! В добровольческую

дивизию сейчас же! В два счета! Никита Сомов—потомственный дворянин. Раз и квас! Тебя с собой возьму!

— Я по гражданской части, Никита Федорович! Я домой сейчас пойду!

Вице-губернатор запихал сверточек в карманы и долго вытирал о скатерть дрожащие пальцы.

— Подожди!

— Мне пора, Никита Федорович!

— П'жди! Слушай! Я их зна-аешь, как?... Подожди! Во-первых...

Никита Сомов загнул грязный палец и подумал.

— В бо-очку... Гвоздей набью и на Лысую гору... А оттуда—пу-щу-у... Пол-России—выпорю два! В третьих—интеллигенция всякая—в Сибирь! Бубновый туз и в рудники—ма-аррш! По одному уху отрублю... С меткой... Раз и квас! Я им такую ри-ва-лю-цию нарисую! Без штопора, с корешком выверну! Вот ка-ак... Я им... Я их, знаешь... я...

Покачиваясь и опрокидывая стаканы, Никита Сомов встал. Свирепый, усастый. Выкатившимися глазами заворочал по сторонам, ища выражения для обуревавшей его мысли. Ткнул вилкой в недоеденный кусок колбасы и, быстро сунув его в рот, уставился выпученными глазами на вице-губернатора, замычал и, не жуя, громко проглотил кусок.

— Во-от как! Глотну и нет! Я... ежа слопаю!

— Я все-таки пойду!—тихо вздохнул вице-губернатор.— Прощайте, Никита Федорович!

— Ну, и чорт с тобой! грузно сел Никита Сомов и руки не подал.

В парадной задребезжал звонок. Из кабинета вышел Викентий Александрович и с ласковой улыбкой встретил входившего Телепева.

— Где же это вы пропада-али? А у нас здесь гости доро-гие были... Вы не знакомы?—кивнул он в сторону Сомова.

Сомов руки не протянул. Боялся отцепиться от буфета. Стоял бревном и медленно раскачивался взад и вперед.

— Никита Сомов!—прогудел он сипло на поклон Телепева.

— О-очень, очень интере-есно было!—обнимая Телепнева за талию, заговорил Викентий Александрович:—и вы знаете, в Петербурге—восстание. Англичане и французы высадили десант... Да, да! И—это пока секрет—великий князь Николай Николаевич в России!

Телепнев печально улыбнулся.

Викентий Александрович говорил с детской искренностью. Недоверчивости Телепнева улыбался мягкой, добродушной улыбкой, как больному.

— Я, знаете, спрашиваю полковника... Боевой, старый полковник. Кавалер орденов. „Как, говорю, полковник, хворостинку

употребляете?“ А он: „Случается, без этого с русским человеком нельзя!“ Вот, видите! Вд-время посечь—вели-кое дело!

— Русского пороть х-х-оро-шо; порешь, а он молчит!— вставил сипло Сомов.

— Пора, пора, Арсений Павлович! А то мы с голоду, да в нищете кончимся, а озорничать не перестанем!

— Они уйдут,—сказал Телепнев.

— То-есть, как?

— Уйдут не сегодня-завтра!

— Ну, что вы?!—покрутил головою Викентий Александрович,—что вы?! Вячеслав Константинович спросил полковника. Понимаете? А полковник прищурился и ничего не сказал... Понимаете—это военная тайна. У них—стро-ого. Вячеслав Константинович даже извиняться стал и так расстроился, что и не досидел, ушел! Не военный человек!

— Да, но когда занимают город, чтобы в нем остаться— не начинают с разгрома!

— Неужели уйдут, по-вашему?

Голос Викентия Александровича дрогнул. Он глядел вопрошающе на Телепнева и у него было растерянное лицо.

— Я до-мой х-хо-чу!—сдвинулся, наконец, Никита Сомов. Задев за стулья, по стенке он добрался до двери.

— Приглашаю всех к Никите Сомову, п'нимаете. И тебя, Викеша! Всех! С утра. Раз и квас!.. У меня—ж-жи-в-во!

На улице Никита Сомов долго соображал, куда ему идти. Все пути были открыты, и он пошел прямо, спотыкаясь и налезая на стены. На углу одной из улиц остановился и обнялся с водосточной трубой. По улице густой и темной массой проходили войска.

Освещенные заревом, проезжали всадники. Скрипели арбы и телеги. Важно выступали верблюды с длинными горделивыми шеями. Еще всадники... телеги с пулеметами, с легкими орудиями в брезентовых чехлах, и опять—арбы, арбы и горделивые двугорбые верблюды. Лиц нельзя было различить. Лишь изредка, при вспышках пожара, раскачивавшего над городом свой буро-красный зловещий полог, из смутной, в молчаньи подвигавшейся, массы выступит скуластое лицо с раскосыми глазами; выглянет и тут же потонет во тьме, уплывая в ночь, вместе с тихим поскрипываньем арб и телег, позвякиваньем уздечек и глухим гулом копыт по мягкой, пыльной улице.

Бесмысленными глазами глядел перед собой Никита Сомов. Несколько раз пытался что-то сказать. Вместо слов изо рта ползло глухое урчанье. И отцепившись от водосточной трубы, он грузно вдруг ткнулся вперед. Одной рукой облапил фонарный столб, другой сорвал фуражку и заорал во всю мочь:

— Никита Сомов! Урр-а-ы-ы!!!

Один из всадников отделился и под'ехал к тротуару. Склонясь с седла, заглянул в лицо и, выругавшись, огрел

плетью вдоль спины. Отцепившись, Никита Сомов упал. Падая, как сквозь сон, увидел над собой лошадиную морду с оскаленными зубами. Она смеялась и в зарево пожара страшна была, как дьявол. Растянувшись на тротуаре, Никита Сомов прикрыл голову руками и завыл:

— Ка-ра-у-ул!!

## VI

Казаки ушли так же неожиданно, как и пришли...

И так же, как перед их приходом, после ухода их нависла над городом пугливая тишина.

Улицы опустели. Плотно закрылись ворота и окна. Горожане попрятались и с лихорадочной торопливостью хоронили на чердаках, в подвалах, в ямах на рабленное и купленное по дешевке: ситец, сукно, сахар, кожи... И когда в полдень застучал пулемет, весь многосердный город вздрогнул и затрепетал, как одно огромное перепуганное сердце.

Никто не выходит из дома. Ни одно окно не открылось. Но как в стоячей воде зарождаются микроорганизмы и начинают таинственную жизнь, так и закупоренных квартирах, домах и дворах завозились и заползали жуткие слухи. И только часам к трем дня, во все эти слухи начал просачиваться один, настойчивый, повторяющийся, как скреботня мыши в глухую ночь.. Слух о каком-то Кабарге, выпущенном казаками, вместе с другими уголовными, из тюрьмы и теперь со своей шайкой захватившем в городе власть... Как масло по горячей сковородке — этот слух расплылся по всему городу. В перепуганных умах Кабарга вырос в огромный, страшный, призрак безвластия и произвола...

А Степан Кабарга поступил очень просто...

Ошугив с приходом казаков всю сладость неожиданной свободы, он так же ярко и неожиданно почувствовал с уходом их неприятную близость опостылевшей тюрьмы.

Выйдя утром за ворога случайного убежища своего и всмотревшись в мергвые, пустые улицы он, не долго думая, махнул к слободским. Там были старые приятели.

Ровно в полдень, надившись в малиновую фуражку с красноармейской звездой, он уже приладил на крыльце семинарии пулемет.

— Сперва пужнем!... А там пощупаем буржуя... у кого чево есть! — ухмыльнулся он приятелям.

— Кабы нас чека не пужнула? — раздумчиво отозвался один, курносый и могучий...

Кабарга почесал бритый затылок и, заломив малиновую фуражку, свиснул

— Доки солнце взиде — роса очи выест! Обделаем чище хрустля!

И застрочил вдоль улицы из пулемета.

## VII

Днем в безлюдьи и пустоте улиц и площадей всегда есть необычность, и мысли, рождаемые ими, всегда странно тревожны и неиз'яснимой полны жути. Мнится: кто-то незримый смотрит и следит за тобой. И ждешь — вот-вот появится некто, и вздрагиваешь от малейшего стука и до ужаса перепугаешься, столкнувшись нос с носом с внезапно из-за угла появившимся, таким же одиноким прохожим...

Телепнев шел торопливо и невольно ускорял шаги. Быстро миновал Гимназическую, где погром, как буря на берегу моря, оставил после себя кучи мусора, щеп и всякой дряни. Разграбленные лавки жутко смотрели в улицу вывороченными дверями и разбитыми стеклами. По тротуарам и мостовой — мука, пшено, пустые коробки и ящики. Будто разгромленная и торопливо оставленная ворами квартира. И надо всем этим — мертвая тишина. Был полдень.

Свернув на Большую, Телепнев чуть не вскрикнул от изумления: через площадь на белой кобыле ехал Никита Сомов. На нем была дворянская фуражка с красным околышем; через плечо — кавказская шашка с серебром и в руке — охотничий арапник.

Телепневу была слышна его сиплая ругань.

— Дарр-мо-еды-ы! Весь город перепился!.. Ишь, дры-ыхнут! Привставая на стременах, Никита Сомов крутился bestолково по площади и всматривался в под езды, ворота, окна.

— Черти! Порядка не знают! Н-но-о, подлюга!

Неожиданно из ворот одного дома выскочили вооруженные люди и остановились, смотря на всадника на белой лошади.

Никита Сомов вытянул арапником кобылу.

— Гей! Оглохли, что ль? — закричал он остановившимся у ворот вооруженным людям: — где здесь штаб добровольческой дивизии?

Телепнев видел, как быстро окружили вооруженные под'ехавшего Никиту Сомова, и как он вдруг неуклюже быстро сполз вниз с белой кобылы и исчез в плотном живом кольце.

— Влопался! — подумал Телепнев и хотел итти. Но его заметили. Двое людей с винтовками отделились от группы, в которой исчез Никита Сомов, и подходили к нему. В нескольких шагах от него один из них поднял ногу и крикнул:

— Стой! Что за человек?

Могучий молодой парень подозрительно всматривался и нога не опускал. Он и его товарищ были обмотаны пулеметными лентами, и лица у них были возбужденные и испуганные.

Телепнев попытался шуткой отговориться.

— Самый обыкновенный человек, товарищи!

— Молчи! Не разговаривай!—взмахнул ногою парень,— оружие есть? Ленька, обыскивай его!

Ленька—по виду гимназист—полез в карманы Телепнева, но в этот момент зажужжало, затрещало, и со стены дома брызнуло штукатуркой и белой пылью.

Повинуясь инстинкту самосохранения, все трое упали на землю и растянули плащом.

Откуда-то строчил пулемет.

Осторожно, чуть-чуть приподняв голову, Телепнев увидел бешено мчавшегося всадника. По посадке и желтым лампасам узнал казака.

— Ленька! Гляди—казак!—зашептал могучий парень и на брюхе подполз к тумбе на краю тротуара, держа наготове ногою.

Низко припав к шее коня, с винтовкой в руке, казак мчался через площадь, как раз к тому месту, где лежали три затаившиеся фигуры: Телепнева, Леньки и парня с ногою. Из-под ног коня брызгали искры. Не оглядываясь, не разгибаясь—казак как бы слился в одно с конем. Ближе и ближе. Уже различал Телепнев раздувающиеся ноздри коня и пену, забрызгавшую лоснящуюся, мокрую грудь. Оставалось всего каких-нибудь несколько сажен. Вдруг казак выронил винтовку и быстро начал кривиться в бок куда-то, к передним ногам коня. И грузно шлепнулся на мостовую...

Почти мгновенно остановился караковый конь. Повернулся назад, к хозяину, нагнул к нему морду, будто обнюхивая, и задрал голову, крупной рысью отбежал в сторону.

Телепневу было видно бородатое лицо с дико вращавшимися белками глаз. Густая кровь выползала изо рта в бороду.

Щелкнул, оглушая, рядом ногою.

Казак перевернулся на брюхо и раскинул широко ноги в желтых лампасах.

— Вставай!—

Могучий парень с дымящимся ногою в руке смотрел на Телепнева странно блестевшими глазами. Ленька был тут же, рядом. У него слегка дрожала рука, сжимавшая винтовку.

— Чего же? В штаб?—посмотрел парень на Леньку.

— По-моему, нечего с ним валандаться,—угрюмо заговорил Ленька:—по вывеске видать—буржуй!

Минута молчания, последовавшая за этой репликой, была одной из неприятнейших минут в жизни Телепнева.

Две пары глаз впилась в него и, подозрительно-враждебные, поползли с лица на воротничек, галстук, на вычищенные ботинки и снова на лицо...

— По вывеске-то—да-а!—раздумчиво проговорил товарищ Леньке.

— В штабе и без него делов много!—сказал Ленька.

— Товарищи, послушайте!—заговорил Телепнев, не зная, что будет говорить дальше; заговорил с единственной целью—

не молчать и не допустить опять жуткого, раздумчивого молчания.

— Товарищи я совсем не буржуй! Меня знают товарищи многие... Я при царе сам в тюрьмах сидел... Честное слово, товарищи!

— Вон, идут наши!..—сказал могучий парень.

Вооруженные люди, вышедшие из ворот дома, куда спрятались от пулемета, быстро подходили к ним и убитому казаку.

Никита Сомов был с ними. Он шел сзади, между двух, вооруженных винтовками.

— Теперь конец!—закрутились испуганно мысли Телепнева, — Никита Сомов узнает... Заговорит... Конец! Заодно—скажут. Зачем я познакомился с ним?.. Расстреляют!..

Никита Сомов изумленно воззрился мутными глазами и протянул руку.

— И вы? Здравствуйте!—просипел он.

Телепнев отвернулся.

— Не узнаете? Никита Сомов... Вчера у...

— Я вас не знаю!—быстро сказал Телепнев, холодея от ужаса.

— Ла-дно разговоры разговаривать!—оборвал один из вооруженных:—айда в штаб! Там поговорим!

Никита Сомов всю дорогу мрачно отплевывался и ругался. В голове у него шумело похмелье. У дверей штаба он с удивлением посмотрел на пулемет и красный флажок. И, сняв фуражку, крепко заскреб в затылке:

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! За-писа-а-ался!..

## VIII

На клочке бумаги, прилепленной к двери, были густо намазаны два слова:

„Штаб диктатора“.

По коридорам суетливо толкались вооруженные люди. Приведенных Телепнева и Сомова сразу облепили жадной гурьбой.

— Откуда? Кто?

Никиту Сомова сейчас же, первого, повели к диктатору. Телепнев остался в коридоре, под охраной Ленки.

Сидя на окне, Телепнев, как загипнотизированный, смотрел на коричневую, глухо закрытую дверь перед собой и видел только два страшных слова:

„Штаб диктатора“.

„Сейчас меня!“—билась одна мысль. Каждый шорох за дверью заставлял замирать сердце и останавливал мысль.

И совсем неожиданно из двери вышел товарищ прокурора Вячеслав Константинович. У него было растерянно-радостное лицо. В руке он держал розовенькую бумажку. Не заметив

Телепнева, он пошел по коридору, угодливо уступая дорогу суетившимся вооруженным людям и держа перед собой розовую бумажку. И почти следом за ним из кабинета вышли четверо людей. Впереди — могучий парень, задержавший Телепнева. С ними вышел красный и потный Никита Сомов. Трое из них быстро пошли к выходу; четвертый повел Никиту Сомова куда-то вниз.

Тысяча мыслей хлынула в голову Телепневу.

Прокурор... Ужин у Викентия Александровича... Посещение казачьего штаба... Никита Сомов, разыскивающий добровольческую дивизию ..

И над всем этим в злобещей неподвижности два слова:

— Штаб диктатора —

напротив, на коричневой, глухо закрытой, двери.

Как во сне, видел Телепнев — снова открылась она, и чья-то выснулась голова; что-то сказала Ленке... Как во сне, вошел Телепнев в страшную коричневую дверь и очутился в комнате, застланной табачным дымом.

Малиновая фуражка с анисовыми яблоками лежала на столе, посредине комнаты. И рядом — маузер.

Сырой, непрокашлянный голос из-за стола спугнул оцененье.

Телепнев вздрогнул.

Прямо перед собой увидел мясистую, гладко остриженную голсу с пристальными, светлыми глазами.

— Ты что скажешь?

Сбивчиво и торопливо Телепнев заговорил. О том, как он был у товарища, как пошел домой... но непрокашлянный, странно знакомый голос его перебил:

— А почему тебя знает этот, какого с тобой привели? — Об этом неизбежном вопросе тысячу раз думал Телепнев; придумывал тысячу ответов; предполагал, что мог сказать на допросе Никита Сомов... Ждал Телепнев этого вопроса и, услышав его, замолчал.

Глядел на одутловатое, рыхлое лицо перед собой, на неуклюжую фигуру в сарпинковой рубаше, считал анисовые яблоки в малиновой фуражке и молчал. Молчал тем упорнее, чем отчетливей сознавал, что молчанье его губит. Молчал с безнадёжностью срезавшегося на экзамене гимназиста.

— Ну?.. Штаб разыскивал вместе? Чего ж молчишь? —

Все равно! — апатично подумал Телепнев и безучастным голосом проговорил:

— Никакого штаба я не разыскивал!

— Ты лучше не прикидывайся! Со мной шутки плохи! — Диктатор шлепнул ладонью по маузеру и ухмыльнулся свирепо и беспощадно.

— Ты чей сам? Здешний?

Телепнев назвал себя. Сказал, где жил раньше.

— Подожди...—перегнулся к нему вдруг диктатор, всматриваясь и морща мясисый лоб,—подожди... Ты в десятом году в тюрьме не был?

Слабая надежда затеплилась в душе Телепнева.

— Был.

— В третьем коридоре?

— Да, в 18 камере.

Диктатор откинулся на спинку стула и рукавом вытер потное лицо.

— Телепов, гришь?

— Телепнев, — поправил Телепнев.

— Стенку Кабаргу помнишь? Во-от дела-то! Где встретились! Яблоков хошь?... В третьем коридоре, на правой руке, ежели с конторы идти...

— Я вас не помню что-то...—проговорил Телепнев, перебирая мысленно тюремные дни.

— Где ж нас запомнить!—неопределенно ухмыльнулся Степан Кабарга.

— Видишь, чудно-то как,—заговорил он, помолчав,—сейчас яблоком потчую, а то хотел вот...—он моргнул на маузер — кологушкой этой... Как звать-то? Арсентий Павлыч! Ну, во-от! Да ты садись! Спешить, небось, некуда... Я, брат, человек справедливый. Пообожди малость — пропуск тебе выпишу. Поликарпыч в момент сделает. А ты—ступай!—махнул он Леньке,—это свой, Арсентий Павлыч!.. Сочинил, что ль?—неожиданно привстал он, заглядывая через голову Телепнева.

— Готово-с, Степан Максимыч!

К столу подошел Поликарпыч.

Телепнев часто видел на улицах эту фигуру. Нестриженный, с взерошенной бородашкой, в затасканной акцизной тужурке—человек без возраста и немыслимый вне какой-нибудь канцелярии. Как он очутился в штабе, —осталось навсегда тайной для Телепнева.

— Прикажете прочесть?—спросил Поликарпыч почтительно и, получив утвердительное: „валяй!“, жидким, козлиным голосом начал читать исписанную четвертушку бумага.

„Приказ № 1. По выборности революционного народонаселения, и военного времени, объявляем себя диктатором над всем городом, а также и пригородом. Белогвардейских казаков и всяких врагов...

— Белогвардейскую сволочь!—вставил Кабарга и звучно раскусил яблоко.

„... мною прогнаны навсегда из пределов. Объявляю до сведения всех граждан обоего пола и возраста хождение и передвижение по улицам строго воспрещенным без моего подписанного пропуска, а также все оружие холодное и огнестрельное сдать мне немедленно по прошествии двадцати четырех часов, за нарушение приказа применю всю строгость высшей меры наказания...“

Степан Кабарга почесал пятерней голову:

— Больно тово ты, Поликарпыч... Акафист вроде...

— На машиночке надлежит!—вытянул шею Поликарпыч,— сейчас слепо, а на машиночке благозвучно будет!

— Вот что!—взял у него из рук приказ Кабарга,—ты заготовь пропуску... А Арсентий Павлыч напишет нам... Напишешь? По настоящему, ты зна-аешь...

— Говорю, нельзя! Понимаете—нельзя!—раздалось у двери, и дверь, видимо задерживаемая, полуоткрылась. Женский голос просил: „Допустите, товарищ!“

— Подожди, сейчас скажу!—решительно сказал юношеский голос, и в комнату вошел гимназист с ногоном в одной руке и копченой селедкой—в другой.

— Товарищ диктатор!—тут женщина к вам...

Кабарга посмотрел на селедку.

— Чево это?

— Да ребята приташили два ящика!.. Хотите—я вам принесу?—с готовностью предложил юноша. И, получив утвердительное морганье глазами, быстро скрылся за дверью.

— Пусти бабу-то!—крикнул ему вслед Кабарга.

Женщина в платке быстро шмыгнула в комнату.

— Товарищ главный начальник!—заговорила она торопливо, поглядывая то на Телепнева, то на Кабаргу, сидевших за одним столом,—товарищ главный начальник!..

— Я—главный,—сказал Кабарга,—чего тебе?

— Я, товарищ главный начальник, к вам... Мой муж, товарищ начальник, в Красной армии...

Повторяя бесконечное множество раз слова „товарищ главный начальник“, женщина подробно начала рассказывать о соседке, спрятавшей в саду кожу и четыре куска настоящего сукна...

— Я, товарищ главный начальник, не какая-нибудь. Мы с мужем всегда за советскую власть... Я и говорю: нельзя государственное продовольствие в яму закапывать, а она как рыла скрябкой, да ка ак кинется... Ну, вот чуточку не попала... Волосок один—на-смерть изувечила бы. Да еще кричит: „ах ты, говорит, шлюха!“.. А мне, товарищ, главный начальник, чужого не на-адо. Я—женщина серьезная...

— Ла-адно!—оборвал ее насмешливо Кабарга. — Поликарпыч, запиши адрес у ей!

— Ну, и су-ука!—выругался он, когда женщина вышла,— не поделили! Вот тут и разберись! Тут тыщу голов нужно, и то спутаешься! Тоже вот один тут был... Как его?—повернулся он к Поликарпычу, вот приходил-то? Гуня-явый такой?!

— Тишинский, Вячеслав Константинович!—по бумажке прочитал Поликарпыч.

Телепнев насторожился.

— Тоже порассказа-ал!—Доктор здесь один есть... Ну, вот! Вечер и устроил. Всю контр-революцию собрал, „боже царя“ пели.

Телепнев сделал вид, что исправляет написанный уже приказ.

— Я так думаю,—продолжал Кабарга,—ежели допустить теперь буржуазию до нашего брата—ды-ым пойдет! Олютетая она очень... Только по-моему—невозможно это! Упустила она — и не удержит теперь. Да и народу надежного у ней нету!.. Ты как полагаешь?

Телепнев, делая занятое лицо и торопясь уйти, вместо ответа, стал читать приказ.

— Верно! Правильно!—одобрил Кабарга.—

С шумом распахнулась дверь и в комнату ввели Викентия Александровича.

Он был растерянный и бледный. Вкрадчивая улыбка делала жалким лицо. Увидев устола Телепнева с бумажкой в руке, он на миг обрадовался и протянул ему руку.

— Арсений Павлыч?!

Как в жаровню с углями, сунул свою руку Телепнев в руку Викентия Александровича.

Ухмыляясь, смотрел на них из-за стола Степан Кабарга.

— И с этим знаком?

В сыром, непрокашлянном голосе брякнула зловещая нотка.

Телепнев поспешно стал об'яснять, что он жилец Викентия Александровича, и что эти дни он почти не был дома...

— И на собрании не был?

— На каком собрании?

— На этом самом... Вот когда „боже царя“ пели!—и вешать постановили!

— Не был, и не знаю никакого собрания!—ответил Телепнев.

Викентий Александрович побледнел еще больше и осунулся сразу.

Степан Кабарга повернулся к нему.

— Не рано ли постановление приняли? Поспешили малость! Сказывай, зачем офицеров да генералов собирал? А ты—по-жди!—бросил он Телепневу.

Викентий Александрович заговорил вкрадчиво и мягко. Он пытался убедить в невинности ужина, в его случайности... Говорил о своей службе, о работе и о том, что никакой политической никогда он не занимался.

— Меня все тозарищи очень хорошо знают... И председатель Губисполкома Петр Семенович, и военный комиссар...

— Мне наплевать!—оборвал грубо Кабарга,—теперь я здесь. Вот тебе и весь сказ! И все ты завираешься... Поликарпыч! как его?..

— Тишинский, Вячеслав Константинович,—подскочил Поликарпыч с бумагой,—прочитать прикажете?

— Читай!.. А ты,—обратился Кабарга к изумленному Викентию Александровичу,—слушай, да не ври!

— „На ужине еще присутствовали генерал Семеловский, подполковник Стреомуков, полковник Иващенко, капитан“...— по складам читал Поликарпыч.

— Это что по-твоему?— прервал чтение Кабарга.

Викентий Александрович беспомощно развел руками и не нашел что ответить. Горькая улыбка скривила рот.

— Тащи в подвал!— крикнул хрипло Кабарга, — я вам покажу контр-революцию!.. Подожди! неожиданно остановил он подошедших к Викентию Александровичу людей, и, обращаясь к Телепну, спросил:

— Ты вот... скажи: правильно али нет? и уставился на него светлыми, неморгающими глазами.

— Чево ж молчишь? Аль в рот воды набрал? Правильно по-твоему?

Боясь смотреть в ту сторону, где стоял Викентий Александрович, выговаривая с трудом слова, Телепнев заговорил бессвязно, мутно.

— Видите, товарищ... Я не могу... Я смотрю... Здесь, товарищ, гораздо сложнее все...

Светлые глаза мяли, щупали до самого нутра. Словно прикидывал Кабарга на руке фальшивый рубль.

— По моему так ставить вопрос нельзя... В жизни, товарищ, бывает...

— Да ты не петляй, как заяц! — раздражаясь, прервал Кабарга, — правильно аль нет, спрашиваю?!

Огромное, тяжкое молчание нависло над головами всех.

И, нарушая его глухим, задвленным голосом, закрывая руками лицо, Телепнев чуть слышно произнес:

— Правильно.

И в тот же момент тяжело и глухо стукнулось о пол.

Викентий Александрович, упав на колени, протянул к Кабарге руки. По его лицу текли слезы.

— Товарищ, пощадите!

— Вставай! Много вы щадили нас, а теперь... Тащи его, Вася!

Когда хлопнула дверь и вдруг тихо стало в кабинете, Телепнев отнял от лица руки...

Усмешливые, светлые глаза тянулись к нему из-за стола. Кабарга сидел, отвалившись на спинку стула. Вытянутая правая рука, сжатая в огромный, мясистый кулак, тяжело лежала на столе рядом с маузером.

— Ну... чево же? — хриловато протянул он. — Уходи-ка, брат!—

Телепнев молчал.

— Поликарпыч! Дай, что ль, ему пропуск!— густо вздохнул Кабарга и, смотря Телепневу прямо в глаза, мотнул усмешливой головой.

# Черный ветер.\*)

*Красной армии посвящает эту повесть автор.*

(Повесть).

## XVI

Радужный ждал Аглаю до четырех утра. В четыре он разделся, потушил свет, но заснуть не мог.

„А ведь она — проститутка!“ — со злобой подумал Радужный. „Как? Меня, Радужного, предпочесть другому, какому-то там спекулянту?! Нет, это разврат, проституция!“

Радужный верил в свою звезду. У него — автомобиль, квартира в Кремле, на груди — знаки отличия, на отверстии пиджака — милый красный металлический флажок; он, Радужный, — член ВЦИК. Со всеми вождями он товарищ. Он — нарком... нарком внудел.

Шесть часов, а Аглая нет.

— Сволочь! рычит Радужный и лезет с головой под мягкое ласковое одеяло. Сна нет, и Радужный, представив себе все картины своего удивительного будущего, начал думать об Андрее.

„Надо написать ему о ней. Нельзя, чтобы у такого хорошего человека была такая сволочь жена. Нужно его известить — пусть возьмет развод!“

Радужный не мог заснуть до рассвета. Но и на рассвете Аглая не вернулась, и он решил сегодня же предпринять два решительных шага: отнести письмо Пажиткова Троцкому и написать Андрею о распутном поведении его жены.

Около девяти Радужный заснул и проспал до часу.

— Аграфена! — закричал он, не вылезая из кровати.

У них был заведен порядок, как у настоящих господ: если ничто не мешало, Аглая и Радужный пили чай (или кофе) в кровати. Аграф на к этому привыкла и, не спрашивая, зачем ее зовут, тут же принесла Радужному стакан чаю.

---

\*) Окончание. См. № 2.

Выпив чай, он поднялся более торопливо, чем всегда, наскоро оделся и сел писать Пажиткову. Написав письмо, он выпил еще чаю, позавтракал и вышел на Тверскую, сдать письмо в почтовое отделение.

Радужный купил марок, наклеил на конверт—аккуратно: в правом углу, сверху — и хотел было уже просунуть в окошечко, где принимают заказные, но решимость покинула его: „А вдруг я поторопился. Может быть, Адя попала под автомобиль, лежит в больнице... без сознания... с переломленной ногой“...

Он быстро отдернул руку, сказал следующему в очереди „Пожалуйста!“, сунул письмо в карман и выбежал на улицу. Поднял воротник, вытянул голову и, сутулясь, быстрыми шагами направился к учреждению, где служила Аглая.

Аглая на службу не приходила. Секретарь сказал Радужному, что она совсем не придет сегодня—„больна“: от ее имени кто-то звонил по телефону.

— Мужской голос?

— Да... этаким баритон...

— Давно?

— Да часов в одиннадцать.

Выйдя в подъезд, Радужный остановился, подумал и снова бросился к секретарю.

— А не сказали, из какого номера звонили, товарищ?

Секретарь поднял на него невидящие глаза.

— Это от Аглаи Григорьевны-то?—Секретарь наморщил лоб и так взъерошил волосы, что все они стали у него дыбом.— А чорт его знает—какой. Забыли, должно быть, сообщить. Этакая неаккуратность у нас на каждом шагу...

— Пойду к Троцкому!—решил Радужный.

Он поплелся в Крестовоздвиженский переулок и вышел на Пречистенку. Переулок этот упирался в подъезд, где помещался секретариат председателя Революционного Военного Совета, и Радужный сунулся в этот подъезд.

— Пропуск, товарищ?—окрикнул часовой.

— Я из комсостава.

— Это все равно. Идите в первый подъезд и возьмите пропуск.

Письмо на имя Троцкого у Радужного приняли, но пропуска не дали. Из секретариата по телефону попросили Радужного оставить в справочном бюро свой адрес: „Если будет ответ от т. Троцкого, немедленно доставим вам на квартиру“.

„Какой бюрократизм!—подумал Радужный. „Совсем тут не ценят работников!“.

Он понуро поплелся домой, надеясь получить от Аглаи хоть записку.

## XVII.

Диц и Аглая приехали, когда еще не было никого из приглашенных гостей. В самой большой комнате—настолько большой, что она могла бы служить зрительным залом для провинциального театра,—прислуга накрывала множество небольших столов, расставленных у всех четырех стен зала. Посредине стоял громадный круглый стол, покрытый зеленым сукном, на нем—стеклянный жбан с крепким домашним квасом—и только. В одном углу стоял большой концертный рояль.

Диц провел Аглаю в кабинет.

Кабинет был строгий, даже немного сумрачный, в темной кожаной мебели.

— Мне страшно нравится ваш кабинет!—сказала Аглая, утопая в высоком кресле за письменным столом.—Такой строгий, деловой стиль...

Диц поцеловал ей руку.

— Я очень рад. Мой кабинет всегда к вашим услугам.

— Да?

Аглая задумалась. Она не прочь бы променять свою мещанскую квартиру на большую, роскошную квартиру Дица. Но она еще не верила ему и только присматривалась.

— Снимите вашу горжетку... Здесь тепло.

Диц сам снял с нее горжетку и, снимая, поцеловал в шею, около уха.

Аглая тихонько вскрикнула, повернулась к нему и шаловливо погрозила пальцем.

— Осторожно... я кусаюсь...

Она опять прошла по кабинету, рассматривая картины. Их было всего четыре, но все они были написаны известными художниками:

— Это—оригинал?—прищурившись, спросила Аглая.

— Нет, олеографии...

Диц начал говорить о своих картинах, как настоящий знаток-специалист.

— Можно затопить камин?

— Ах, пожалуйста.

Он зажег растопку, подложил углей—и скоро в камине забегали красные, желтые, синие змейки огня.

— Как хорошо!—вздыхнула Аглая.

— А если вот так...—сказал Диц и выключил электричество.—Совсем феерия, не правда ли?

Аглая вскрикнула от восторга. Действительно, при свете камина сумрачный кабинет напоминал таинственную комнату в каком-либо средневековом замке времен рыцарства.

— Хорошо?

— О, да!

Диц, как бы неумышленно, а только под впечатлением открывшейся им этой мистической картины, обнял Аглаю. Аглая не сопротивлялась. Диц поцеловал ее в губы. Аглая тихонько ответила на поцелуй,

— Как давно я хотел видеть вас у себя...

— И вот—я у вас...

— Милая...

## XVIII

Гости собрались только к одиннадцати.

Аглая встречала их с тем оттенком таинственности в своих отношениях к этому дому, какой всегда замечен у молодых любовниц одновременно и скрывающих, что они любовницы, и желающих, чтобы все догадывались об этом.

Время от времени среди проходящих слышалась французская, немецкая, польская, английская речь. Сдержанно, насмешливо говорили о политике, громко—об искусстве, литературе, о новых театральных постановках, о новых модных костюмах у женщин. Говорили об артистах и поэтах, которых жизнь уже сдала в архив, а здесь ими все еще продолжали восхищаться. И все это мельком, пока еще не успели рассесться за столиками. А за столиками сначала собирались компании близко знакомых между собою людей, потом знакомились с соседями, пили за здоровье друг друга—и, в конце концов, компании перемешались. Кто-нибудь выкрикивал тост „за женщин“—и все пили за женщин и целовали у своих дам руки.

Выпитое вино отуманило. Женщины стали смелей и еще более оголялись. Некоторые пары уходили в кабинет и, возвратившись, сосредоточенно пили и ели молча.

Аглая сидела по левую сторону от Дица. Он что-то тихо говорил ей, она смеялась—счастливая и довольная в эти часы.

Внимание всех занимал оперный артист Самсонов. Толстый, с обрюзглым, подвижным лицом, юркий и очень довольный собой, он перешел от стола к столу в роли конферансье.

— Господин Самсонов, расскажите анекдотик, пожалуйста...

— Господа, анекдот—из пяти слов, а если хотите—из пяти букв: РСФСР...

— Bravo! Bravo!

— Ах, как это остроумно!

— Замечательно!

Женщины тянулись к нему с бокалами:

— Самсонов... умница... Давайте с вами на брудершафт?

— Пожалуйста. Только—с поцелуями?

— Конечно же... умница!

Среди гостей сновала прислуга. Тут были и опытные ресторанные лакеи, и несколько горничных, одетых по последней моде. Был даже особый распорядитель из бывших опытных

ресторанных „метр-д'отелей“ Все они следили за каждым столом, приносили и уносили бутылки, меняли кушанья, наливали в стаканы вина, куда-то уходили и появлялись вновь как раз в тот момент, когда тут или там требовались их услуги.

Вечер был в разгаре. Гости уже встали со своих мест. Самсонов сел к роялю и, сам себе аккомпанируя, начал петь модные опереточные песенки.

— Танцы! Танцы!—закричали женщины.

Начались танцы.

Танцевала специально приглашенная пара. Она начала с „фокстрота“, протанцевав целую серию всевозможных разновидностей этого танца. Пара танцевала ловко—оба знали мастерски свое дело, доведя чувственность гостей до возможного предела. В углах целовались. Некоторые куда-то вышли и долго не возвращались. Где-то, в глубине коридора, взвизгивали горничные. В зале остались только лакеи, которые смотрели на веселящихся гостей с каменными лицами.

За круглым большим столом, что стоял посередине, образовалась сначала небольшая, но потом разросшаяся компания. Здесь играли в „железку“. Рядом с Дицем тут сидела раскрасневшаяся Аглая и, забыв все тонкости, тербила его за рукав.

— Ну, милый, иди ва-банк. Ну, на мое счастье!..

Диц шел ва-банк и, если выигрывал, передавал сорванный банк Аглае. Она хлопала в ладоши и прятала деньги за корсаж. Если Диц проигрывал, он с нежной иронией целовал ей руку.

На круглом столе мелькали и звенели старые золотые десятирублевки, доллары, франки, фунты стерлингов. Игра разгоралась в крупную.

## XIX

Записки от Аглаи не было.

„Ну, конечно же—простит тка!“—со злобой подумал Радужный. „Она меня обманула... и где-нибудь развратничает с этим жидом... Надо написать Андрею.—Надо обязательно написать!“—прибавил Радужный вслух и сел к столу, поминутно оглядываясь на дверь.

Он ничего не знал,-- что случилось за это время с Пажитковым. В газетах еще не было никаких сообщений: шайку Андрея надеялись ликвидировать быстро, да и никто как-то не верил, что он зайдет в своем протесте так далеко...

Радужный написал:

„Глубокоуважаемый товарищ Андрей Егорович!

„Мне придется вас огорчить этим письмом, и не столько в вопросах порученного мне вами дела, сколько в делах интимного характера, которых я и не посмел бы касаться, если бы не был проникнут к вам моим глубочайшим уважением и товарищеской преданностью.

„Поскольку мне (совершенно случайно, конечно) удалось с полной достоверностью установить, ваша жена, Аглая Григорьевна, ведет здесь легкомысленный образ жизни, якаясь с чуждыми и даже враждебными революции элементами. В довершение всего она спуталась с спекулянттом, по фамилии Диц, и, как мне, опять-таки случайно, удалось установить, проводит с ним ночи в пьянстве и разврате. Таким образом, вам надо принять срочные и решительные меры, чтобы она не волочила вашу фамилию по московским притонам и не дискредитировала бы ваше честное революционное имя в глазах людей, вас уважающих. Это обстоятельство и понудило меня написать вам настоящее письмо. И я никогда не решился бы на этот шаг, если бы не та дружба и уважение, которое я к вам питаю с первого же дня нашей совместной работы.

„Что касается вашего поручения, то оно выполнено мною незамедлительно. Ваше письмо я передал по назначению, и я убедился, что к вам питают глубокое товарищеское уважение. Не беспокойтесь, все будет улажено. Я завтра, вероятно, буду иметь на руках уже официальную отмену приговора.

Примите уверение в глубочайшем к вам уважении и преданности.

Викентий Радужный.“

Наскоро запечатав письмо в конверт, Радужный бросился на улицу.

Опять вынырнул на Тверскую, перебежал ее и сунулся во двор, где помещается почтовое отделение. Наклеив сколько надо марок, он протянул письмо в окошечко.

— Примите, пожалуйста... заказное.

Чиновница лениво протянула руку за конвертом.

— Сегодня письмо уйдет?

— Вероятно.

— Очень вам благодарен.

Получив расписку, Радужный вышел и, медленно прогуливаясь, зашагал по Тверской.

## XX

— Я не могу, товарищи,—решительно сказал Андрей, ударя ладонью по колену,—я не могу продолжать эту преступную, возмутительную войну. И в особенности не могу вас втягивать в нее... вы должны быть там, с революцией.

— Мы и здесь—с революцией.

— Нет. Здесь вы—против нее.

В овине было душно. Костер едва пламенел, искры натуживались и неожиданно взрывались, как ракеты.

Тут заседал штаб Пажиткова, Прохор—хозяин овина, и Филипп—муж Марьи.

Эти два мужика еще недавно были в отряде Пажиткова, но были ранены, отлеживались в госпитале и оттуда, по распоряжению Андрея, были отпущены домой, как демобилизованные.

Гнеушев председательствовал. Четверо—члены штаба—сидели молча, сосредоточенно слушая Андрея. Все они были в возрасте от 18 до 25 лет.

Двое из пятерых вели канцелярскую работу по штабу: Хрионов и Ваня Маленький. Хрионов не расставался с оружием даже в постели и писал бисерным женским почерком.

Ваня Маленький был из портных. Он привык к Андрею,—привык до того, что совершенно разучился думать, предоставляя это своему другу и во всем безоговорочно веря и полагаясь на него.

Остальные трое пошли за Пажитковым по чувству, искренно разделяя с ним нанесенную ему обиду и желая разделить с ним и его участь. Один из них—по фамилии Отсебятина,—сын сельского дьячка, опившегося водкой за несколько дней до рождения сына,—был угрюм, держался в стороне и дружил только с Самойленкой.

— Час вашей гибели еще не настал,—продолжал Пажитков, ударяя себя по колену.—Если вы добровольно явитесь туда,—он сделал жест по направлению города,—на вас наложат лишь дисциплинарное взыскание... Меня же теперь уничтожат, что бы ни случилось... Я предлагаю вам сдаться.

— Ни за что!—мрачно отозвался Хрионов.—От вас я не уйду никуда.

— Я—тоже,—сказал Ваня Маленький.

Гнеушев сумрачно смотрел на костер.

— Мы, конечно, на предательство не пойдем,—сказал он, не поворачивая головы.—Но мы не можем также вести войну с нашими же товарищами. Это было бы как раз то, чего с великим нетерпением ждут враги революции... Мы им этого удовольствия больше доставлять не можем. Но у нас есть выход...

Андрей поднял на него глаза.

— Да, есть!—громче повторил Гнеушев.—Мы должны обратить наше оружие в другую сторону. Наш отряд должен выступить против бандита Махно, который снова пошел против Советов. И тогда... может быть, со временем...

— ... нас простят,—улыбнувшись, добавил Андрей.

— Да... если хочешь,—сказал Гнеушев.

— Едва ли...

— Но ведь—свои же товарищи...

— Были когда-то. Теперь часть из них—в земле, и—по нашей милости. Нет!—твердо сказал Андрей.—Сегодня же, пока нас всех не переловили, я объявляю товарищам, чтобы они возвращались.

И он опять сделал жест в направлении города.

— А ты?

— Я—бандит. Меня теперь не спасет ничто. Я кончу бандитом.

— Ну, это ты напрасно!—горячо возразил Гнеушев.— В каждом человеке сидит бандит, только градусы разные... Ты слишком мрачно смотришь на дело.

— Я смотрю на дело так, как оно есть.

— Ну, хорошо, распускай!—сердито сказал Гнеушев.— Но мы все останемся с тобой.

— Напрасно,—тихо отозвался Пажитков.

И, повернувшись к Хритонову, уже тоном командира приказал:

— Товарищ Хритонов, известите весь отряд о нашем решении.

— Хорошо, товарищ Пажитков.

Молчавшие до сих пор мужики поднялись, словно по уговору. Они лучше всего штаба почувствовали положение, в которое попал Пажитков и в которое он поставил свой отряд.

— Вот что,—сказал Прохор, хозяин овина.— Всем вам нет выхода. Вы пропали, вас никогда не простят.

— Прощают же бандитов, если они добровольно сдаются,—возразил Андрей.

— Так то—бандитов, а вы—изменники, коль подняли оружие против своих. Вам не будет прощения.

— Не будет,—подтвердил Филипп.

— Что же делать?—спросил Пажитков, внезапно понявший неотразимую правду мужиков.

— А то, что делаешь,—ответил Прохор.— Распусти шайку, а сам живи пока у нас. Мы тебя не выдадим. А время пройдет... время-то, оно даже в законе утверждено,—ну, там и объявишься...

В овин грузно спускался Самойленко. Он тяжело сопел. Кровавое, исцарапанное и подбитое лицо его было страшно.

— Ты откуда?..—спросил его Пажитков.

Самойленко отошел в угол овина и молча повалился на солону. Через минуту он уже храпел.

## XXI.

Отряд Пажиткова, выскочивший из окопов, попал в кольцо и метался, как раненый зверь. Даже те, которые несли службу связи, и те спяну оказались в этом кольце, и, если бы не Пажитков, в тот туманный день был бы захвачен весь его штаб.

... До теми, в густой туманной измороси, по полевым калужинам, налитым осенними дождями, расплескивалась братская кровь. А вечером, оставив на вспаханном, засеянном, а теперь вытоптанном поле убитых и раненых, остатки людей, уцелевшие от убоя, смертельно уставшие и обозленные, ненавидящие весь свет, двигались к городу. В поле и перелесках прятались убежавшие от бойни и, встречаясь с другими

бежавшими, снова дрались или прятались друг от друга. В поле, как звон нежной струны, потревоженной ветром, в шуме дождя едва слышались умоляющие стоны раненых:

— Бра-тцы!. Това-а-арищи!.. Пристре-е-лите-е!..

Падая в рытвины, запинаясь, натыкаясь друг на друга, по дороге к городу медленно плелась большая еще толпа вооруженных людей. В середине этой толпы молча шагали сотни полторы людей из отряда Пажиткова, чтобы под пулей или в городской тюрьме завершить тот круг, который для них начертала чужая воля... Все они, как и большая часть конвоирующих их вооруженных людей, были окровавлены, оборваны, и всем им теперь ничего не хотелось и ни о чем не думалось. Спать! спать!..

Кое-где в лесу под деревья валились, как мертвые, уставшие люди и мгновенно засыпали, несмотря на холод и сырость. Эти были счастливее тех, которым предстояла еще целая ночь трудного пути впотьмах, по дорожным рытвинам и ухабам, а там, после этого пути...

— Эй, чего вы там отстали! Иванов, подгони!

— На кого лаешь, кобель?!

— Молчать, бандитская харя... Растворов, дай ему наганом по кумполу...

— Ма-алчать!

— А пошли вы все к раз ...нейшей матери...

— Бей!

...Ночь. Темная, дождливая, жуткая. До города больше двадцати верст.

## XXII.

Утром в ближайшем лесу снова собрался отряд Пажиткова. В отряде оставалось всего сто тридцать два человека.

Пажитков решил принести в жертву свое, обиженное там, в городе, самолюбие, и эту жертву отряд не принял.

— Не дело говоришь!..—первый сказал Отсебятина и покраснел. Он вообще не привык говорить, потому что немного заикался, робел, заикался еще сильнее и от этого еще сильнее робел. Тогда над ним смеялись.

— Не де-ело!—загудел весь отряд.

Попросил слова Гнеушев.

Он смотрел на положение просто—как оно есть.

— Мы—бандиты,—говорил он.—Допустим, что мы — бандиты. Нам нет прощения, мы погибли. Я предлагаю: не поднимать оружия против своих, но не сдаваться, и сейчас же начать войну против махновщины. Это —единственный путь и единственное наше оправдание в будущем перед всем трудовым народом.

Сердито закашлял Прохор, давая знать, что он хочет говорить. Здесь он был один: Филипп остался дома по просьбе

жены, которая сказала ему, что она сильно мается животом и, охая, лежала на голбце.

— Неправильная игра, — сказал Прохор, когда отряд замолк, приготовившись слушать. — Игра это, а не настоящее дело. Настоящее ваше дело загублено совсем, палка переломилась, — не свяжешь. Надо итти с повинной. Против кого воюете? — вдруг сердито закричал он. — В кого вы стреляли, сукины дети, против кого сабли точите? „Не сдаваться“? Да какая же они власть, если перестанут вас ловить, — я первый их уважать не буду. Ступайте туда, откуда пришли, склоните голову и скажите спасибо, если они отрубят вам ее без позору перед рабочими да перед нами, мужиками. Я вместе с вами боролся и буду бороться, если вы пойдете против махновцев, но ежели придут из города и прикажут мне отдать им не только винтовку, а все мои потроха, так я и то сейчас же отдам, не задумавшись. А вы: „не сдаваться“... Да кому не сдаваться-то, олухи вы этикие?.. Перед кем рыло-то задирать?!..

Прохор спрыгнул с пня, на который влез, чтобы говорить, и сердито выругался забористым матом.

Самойленко, стоявший неподалеку от Прохора, насмешливо развел руками:

— Не за шкуру ли свою дрожишь?.. Не предать ли нас собираешься, рыжий чорт?.. Говори, да поглядывай...

— Предать... я?!...

Прохор ухватил его за ворот.

— Откажись от своих слов, стерва. Убью!

И он полез в карман за наганом.

Отсебятина схватил его за рукав.

— Отстань! — сказал он Прохору. — Никто тебя не заподозрит. Брось!

Их окружили. Когда вспышка прошла, Прохор отошел в сторону и погрозил Самойленке кулаком. Самойленко презрительно отвернулся.

— Так как же? — спросил Гнеушев.

— А так, — снова сказал Прохор. — Кто хочет против бандитов с Андреем Егорычем Пажитковым — отходи ко мне.

И он отделился в сторону.

К нему подался почти весь отряд.

— Но только ежели из города, — повторил Прохор, — чтобы сдаваться без разговоров.

— Ну, это мы еще посмотрим... — хрипло отозвался Самойленко.

— П-посмотрим... — повторил Отсебятина.

— Надо вырешить окончательно.

— Ну, чай, не последний раз собираемся. Вырешим.

— Вы-то уж вырешите!.. — насмешливо сказал Прохор и первый зашагал к селу.

## XXIII.

В том доме, где жил Диц, была выслежена шайка бандитов. Бандиты хоть и называли себя партийными эсерами и организованными анархистами, но уже потеряли связь с своими организациями, и теперь попросту занимались грабежом и уголовными убийствами.

Засада обратила внимание на освещение окна квартиры Дица, на слишком уже многолюдное сборище и на то, что там раздавалось пение, аплодисменты и топот. Один из агентов отправился к товарищу в 5-й Дом Советов, в Шереметьевский переулок, и оттуда позвонил в Чрезвычайную Комиссию, чтобы прислали отряд с полномочиями. Время было уже позднее. Становилось вполне ясным, что бандиты, которых выслеживали, узнали о засаде и скрывались в другом месте. Теперь надо было установить, что за пир в квартире Дица и откуда так много гостей.

— Кто-то устроил кутеж... Вероятно, спекулянты веселятся,—перешептывались агенты.

В переулке тихо остановился автомобиль. Вышли вооруженные люди и скрылись в под'езде. В самый разгар пиршества, картежной игры и мирной беседы представителей четырех наций в кабинете Дица,—в коридоре, у входной двери, раздался истерический визг горничных:

— Батюшки мои!.. Чрезвычайники!..

Зал на мгновение замер. Руки играющих судорожно протянулись за деньгами—за своими и за соседскими. Женщины завизжали. В кабинете открылась и быстро закрылась дверь, затем тут же брызнули разбитые в окне стекла.

Но было уже поздно. В зале, в кабинете и у всех дверей стояли люди в кожаных куртках и командовали, наводя револьверы:

— Ни с места! Руки вверх!

— Что же это такое?—истерически возмущалась Адель.—Монастырь сделали из России!.. В гости к друзьям даже нельзя пойти... Безобразие!

Агент презрительно усмехнулся. Эта красивая, полуобнаженная женщина, горящая, как снег, разноцветными огнями дорогих камней, наступая на него, все же боялась опустить руки, которые подняла по его команде.

— Бросьте, барынька!.. Вам тут никто не поможет.

По залу с поднятыми руками метался старичок, родственник Дица, то и дело падая на колени перед суровыми людьми в кожаных куртках, плакал и умолял:

— Товарищи!.. Да простите же! Да извините же!..

В кабинет вошел агент. Он искал командира, чтобы получить распоряжение.

- Будем обыскивать, товарищ Петров?  
 — Обязательно.

\* \* \*

Утром ранние прохожие наблюдали удивительное шествие: по мостовой понуро плелись, окруженные стражей, люди в изящных осенних пальто, в высоких крахмальных воротничках, некоторые были в одних фраках и зябли. С ними шли женщины в бальных платьях и в белых туфлях. Все молчали, жались от холода, сутулились и пугливо озирались на стражу. И только один старичок суетился в толпе, выбегал из рядов и, прицеливаясь упасть на колено перед рослым человеком в кожаной куртке, беспрестанно твердил:

— Товарищ, да простите же! Да извините же!

— Свадьбу поймали...—сказал пожилой человек в промасленной поддевке, стоя на тротуаре и пропуская мимо себя это странное шествие.

Когда шествие удалилось, он опасливо посмотрел в спину задним конвоирам и торопливо перебежал улицу.

#### XXIV.

Филипп по ночам пропадал. Вернувшись, он нервно ходил по избе, иногда ругался вслух или бросал непонятные слова.

— Сволочи! Шкуру свою берегут!.. Забыли, как за ихние горшки мы свою кровь проливали.

— Это ты о ком?—спросила Марья.

— Да все о них же, сукиных сынах.

— Про мужиков?

— Ну, да! Боятся, сволочи, как бы их Красная армия не спалила, что, дескать, бандитов укрываем...

— Это Егорыча-то?

Филипп кивнул головой.

— Ну, да! А он нам весь край освободил — как его не укроешь-то? Своя кровь!..

— Смотри, не ошибись. Ну, да, ваше дело—мужское, вы и решайте. А мы уж, как вы: куда иголка, туда и нитка.

Филипп продолжал нервно шагать по избе. Потом он остановился перед женой, сидевшей у стола за шитьем, и сказал с грустью:

— Опять, видно, разлука нам, Марьюшка... Месяца на два, поди. Ты уж покрепись еще, пожалуйста... в последний раз...

Марья побледнела.

— Опять война?—спросила она со слезами.—Неужели вам не надоело убивать друг друга? И так сколько крови пролито...

— Ничего, мать, не поделаешь. Теперь пойдем бить Махну...

Ночью к Филиппу пришли Пажитков, Гнеушев и Прохор. Самойленко итти отказался: „Поговори за меня, товарищ начальник. Мне надо наладить некоторые дела по хозяйству, а то они у нас не совсем в порядке“.

— Хорошо,—сказал Пажитков.

Марья, чтобы не мешать беседе, которая, наверно, будет секретной, вышла на двор, задала на ночь скотине корму и прошла к соседке, захватив с собою шитье. Самовар она согрела раньше, поставила на стол и принесла из погреба соленых огурцов, грибов и капусты. Потом достала из печи большую сковороду жареной картошки.

— Угощайтесь, товарищи, без меня. У меня свои дела, бабьи.

— Хорошо, иди, мать. Мы и без тебя распорядимся.

Штаб Пажиткова еще вчера решил податься с отрядом на юг, чтобы вступить в борьбу с махновскими бандами. Теперь надо было только нажать на мужиков, чтобы они дали коней и запас провианта, которого хватило бы хоть на одну неделю. Сегодня Прохор и Филипп целый день уговаривали мужиков, и им удалось достать значительный конный резерв, несколько десятков пудов солонины, десятка полтора подвод, часть которых пришлось взять в соседних селениях.

Денег не было. Самойленко на заседании штаба заявил, что деньги вышли все, остались какие-то пустяки.

— Нам надо бы захватить поезд...—сказал Самойленко.

Штаб только улыбнулся этому предложению.

— Ограбить?—насмешливо спросил Гнеушев.

— Нет, для передвижения.

И теперь, вспомнив об этом предложении Самойленко, Пажитков подумал, что оно вполне уместно, если бы... отнять поезд у Махно. Напасть на советский поезд он не решался.

— Мужики откупились от нас,—сказал Прохор:—больше мы от них не получим ни корки. Они боятся. Если мы еще станем здесь задерживаться, я не ручаюсь, что кто-нибудь из них нас не предаст. Они не хотят никого укрывать, кто против Москвы. Нам надо уносить ноги.

— Почему же они не предали до сего времени?

Прохор улыбнулся:

— Из-за темноты из-за своей. Они говорят, что мы—большевики, а кто нас ловит—коммунисты. Коммунисты, дескать, нападают на советскую власть, а мы защищаем. Вот тем и держимся.

— На этом мы держаться не можем,—сказал Пажитков.

— А то—подержись... — ответил Прохор и сердито сплюнул. — Затеял ты, парень, бучу... А куда она к чортовой мамери?..

— Если не хочешь — выйди,—сказал Гнеушев.

— Не могу!—горячо воскликнул Прохор.—Кровью с вами сросся, с сукиными сынами... сердце в сердце. Знаю, вышел бы...

С минуту помолчали. Пажитков не знал, что ему делать дальше. Он уже не раз решал вопрос: не сдать ли ему мирным путем и разом прекратить все. Но самолюбие возмушалось, и он снова выпрямлял спину.

— Что бы там ни было,—сказал Пажитков:—завтра уходим на махновский фронт.—Я покажу им...—он сразмаху стукнул кулаком по столу. Стоявшая на столе керосиновая лампа испуганно мигнула и погасла. — Кто-нибудь когда-нибудь меня поймет!

Гнеушев взял Пажиткова под руку.

— Не волнуйся,—сказал он, чтобы успокоить.

Они выходили из избы, направляясь к овинам. Их провожал Прохор.

Была лунная морозная ночь. Дожди кончались, начинались заморозки. В туманное поле убегали узкие колеи дороги. На дворе сонно и коротко мыкнул бугай.

— А, ведь, дельно говорил Самойленко о поезде-то...—задумчиво сказал Гнеушев.

— Я уже думал об этом. Но как?

— До железной дороги десять верст... Надо будет подумать о плане. Ты как думаешь о поезде?—спросил Пажитков Прохора.

Прохор ничего не ответил. Он безнадежно махнул рукой и молча зашагал к дому.

Пажитков рассмеялся.

— Настоящий резонер!—сказал он о Прохоре.—Ему бы только играть в театре. Напрасно пропадает талант.

Гнеушев шел, сосредоточенно думая.

— А ведь придется?..

— Что?

— Поезд-то?

— Придется, я думаю,—рассеянно ответил Пажитков.

И вдруг повеселел:

— Все равно уж: семь бед—один ответ. С поездом или без поезда,—все равно расстреляют. Так пусть уж с поездом.

И, крепко пожав руку Гнеушева повыше локтя, сказал:

— Ну, его к чорту—овин. Не хочу спать. Жить, брат, смертельно хочется. Смотри-ка, ночь-то, луна-то... совсем с ума спятила. В банях теперь девчата лен мнут. Не сходить ли?

Гнеушев даже остановился, смотря на него с изумлением.

— Ты шутишь, конечно?—спросил он тоном утверждения.

— Пропал я зря...—тихо отозвался Пажитков.

## XXV.

Пролежав около месяца в госпитале, Гарусов уехал в Москву.

В Москве он узнал все, что случилось после него с отрядом Пажиткова.

Он узнал, что отряд Пажиткова разбит на-голову. Оставшиеся в живых взяты в плен, и только незначительная часть шайки, успевшая бежать, скрывается где-то в ближайших селениях. Но и эта часть, как уверяли Гарусова, будет скоро переловлена самими же крестьянами, которые все до одного за советскую власть и против пажитковской шайки.

— Да все ли?—усомнился Гарусов.—Там Пажитков среди крестьян пользовался очень большой популярностью.

— В том-то и дело, что сам Пажитков, кажется, убит. После боя среди сильно обезображенных трупов найден человек в кожаной куртке и высоких охотничьих сапогах, слишком напоминающий Пажиткова. Голова, к сожалению, была разможжена, должно быть, взорвавшейся гранатой.. Во всяком случае, шайка не подает никаких признаков жизни. А прошло уже около месяца, как ее перестали ловить. Есть сведения, что кое-кто скрывается в одном селе. Ну, так это просто дезертиры из его же шайки. Скоро мы их амнистируем.

— А если обявится Пажитков — его вы амнистируете?

Член Революционного Военного Совета Республики, с которым разговаривал Гарусов, иронически усмехнулся.

— Ну, конечно, амнистируем!—сказал он насмешливо.—Но раньше мы спросим совета у тех красноармейцев, которых изрубила его шайка. А вы амнистировали бы?

Вместо ответа, Гарусов напомнил:

— Но вы же представили к амнистии белых офицеров, а они не хуже Пажиткова рубили красноармейцев?..

— Ну, это совсем другой разговор. Они не предатели, а побежденные. А предателям везде один почет. Тут двух мнений быть не может.

Член Военного Совета Замыцкий, с которым разговаривал Гарусов, был образцом аккуратности, трудоспособности и служебной дисциплины. В военном деле он ценил дисциплину выше всего, и сам был примером исполнительности, работая с точностью часового механизма.

— Не вы ли же сами были председателем трибунала, осудившего Пажиткова? То, что он сделал тогда—невинные младенческие шалости по сравнению с тем, что он натворил впоследствии. Как вы думаете?

Избочив голову и улыбаясь, Замыцкий смотрел на Гарусова, как на противника, которого ему двумя словами удалось поставить в безвыходное положение. Он сделал вид, что ждет

от Гарусова ответа, но сам перебирал в уме вопросы, поставленные в повестку заседания, которое должно собраться через полчаса.

— Кстати, — сказал Замыцкий, — несколько времени тому назад какой-то Радужный передал нам письмо Пажиткова с ходатайством об освобождении. Удивительно! Он мог бы подождать решения Реввоенсовета, прежде чем открывать против советского государства бандитские походы. Возможно, что Реввоенсовет возбудил бы вопрос о пересмотре дела и об отмене приговора. Но разве так можно влиять на решение высших органов?

Теперь Замыцкий говорил уже более небрежно, давая понять, что разговор о Пажиткове кончен, и он не намерен его продолжать, потому что вопрос чрезвычайно ясен. Он, разговаривая, просматривал письма и телеграммы.

Гарусов поднялся.

— Дело ясное, — сказал ему в напутствие Замыцкий. — Мне очень жаль, что так нелепо погиб ваш приятель... Но в этом — его вина, а наша беда.

Гарусов простился и пошел к двери. Но когда он уже закрыл за собою дверь, его снова окликнул Замыцкий. Гарусов вернулся.

— Вот полюбуйтесь-ка, — сказал он, протягивая Гарусову секретную телеграмму.

Гарусов взял телеграмму и прочел:

„В ночь на 23 ноября шайка бандитов захватила маршрутный поезд, шедший за хлебом для рабочих Донбасса. По точным сведениям, имеющимся в штабе войск, бандой руководил Андрей Пажитков, до сих пор ошибочно считавшийся убитым. К ликвидации шайки приняты меры“.

— Ну, как? — спросил Замыцкий. — Разборчиво написано?

Гарусов положил на стол телеграмму и молча вышел из кабинета.

Он старался не думать о Пажиткове. Ему нужна была комната, и он направился в центральный жилищный отдел, в который ходил ежедневно, как приехал в Москву, но получал только обещания. Сегодня он решил добиться своего во что бы то ни стало. Он жил в общежитии, где его заели вши, которые ему достаточно надоели и на фронте.

„Получу комнату, вымоюсь, надену чистое белье, отдохну... займусь чтением. Я ужасно отстал. Надо это дело поправить“...

## XXVI.

— Нет, товарищ, я вас настоятельно прошу позвонить моему заведывающему... Пустите меня к телефону, я позвоню Дзержинскому. Вы не имеете права меня задерживать. Вы мо-

жете составить на меня протокол, но держать в вашей гнусной тюрьме не имеете права. Я буду жаловаться Троцкому.

Аглая сидела в предварительной тюрьме Чрезвычайной Комиссии, где сидели и другие участники пирушки, устроенной Дицем.

— Я прошу вас, гражданка, не шуметь!—сказал начальник тюрьмы:—Ваше освобождение зависит не от меня, а от следователя. Жаловаться вы имеете полное право, но к телефону вас, как арестованную, до следствия я допустить не могу.

— Тогда доложите Дзержинскому.

— Хорошо, я передам это следователю.

— Так вот, передайте.

Аглая казалась возмущенной до крайности. Она надеялась добиться этим скорейшего освобождения. Но освобождение не приходило. Вся компания сидела в тюрьме уже вторую неделю. Некоторые были в первый же день выделены из общей группы и были рассажены по одиночкам.

Когда начальник тюрьмы ушел, Аглая с раздражением начала ходить по камере. Эта привычка всех заключенных была усвоена ею в самый короткий срок:

— Я им покажу!..

Все арестованные вели себя вызывающе. Они никак не могли примириться с тем, что посягнули на их свободу. Артистка, которая пела, и Самсонов, отбившись от других, играли в любовь.

Когда начали вызывать на допрос, камера присмирела. А когда им случайно из газеты удалось прочесть официальное правительственное сообщение о раскрытии крупнейшего заговора против Советов, камера целый день молчала, а потом говорила уже шепотом.

В этом правительственном сообщении говорилось, что в обнаруженном заговоре участвовал целый ряд представителей иностранных государств, несколько лиц, занимавшихся шпионажем в пользу этих государств против Советской России, спекулянты, внутренняя эмигрантщина, бывшие офицеры, скрывавшиеся от советской власти, и некоторые советские служебные лица. Дальше сообщалось, что часть заговорщиков арестована на квартире бывшего банкира Дица, где захвачены четверо шпионов и бывшая русская княгиня Аделаида Вяжлинская. Все шпионы приговорены к высшей мере наказания, и приговор над ними уже приведен в исполнение.

— Что случилось?—думала Аглая.—Как я попала в эту компанию?

Она сильно была встревожена и искала причин, почему Диц пригласил ее именно на этот вечер. „Не хотели ли они чего-нибудь добиться через меня?..“

Камера была подавлена. Даже артистка и Самсонов перестали играть в любовь и разместились по разным углам.

Аглая больше не вызывала начальника тюрьмы и не просила позвонить от ее имени Дзержинскому. На допросе она держалась скромно, о Дице и о тех участниках вечера, которых она знала, говорила все, что ей было о них известно.

Следователь, допрашивавший Аглаю, был молодой, из рабочих, получивший большую практику в следовательском деле за годы революции. Сам он говорил мало, больше задавал вопросы, но так, что каждый вопрос попадал в цель и на него приходилось долго и всесторонне отвечать.

— Давно ли вы не получали писем от мужа?

— Последнее письмо я получила месяца полтора тому назад. Мы, вообще, редко переписываемся.

— По почте или с нарочным?

— С нарочным. Письмо привез мне военный консультант штаба Викентий Радужный.

— В каких отношениях вы с этим Радужным?

Аглая смутилась. Ей и в голову не пришло, что следователю могут быть известны ее отношения с Радужным.

— Со времени приезда Радужный стал моим любовником,—ответила Аглая, решившись из страха говорить только правду.

— А Диц?

— Тоже.

Следователь насторожился. Видя, что Аглая говорит правду в таких вопросах, он, стараясь уловить это настроение искренности, спросил ее:

— А вам известно, чем стал теперь ваш муж?

— Радужный рассказывал всю историю. Мой муж ждет решения Реввоенсовета.

Следователь едва заметно улыбнулся.

— На вечеринке ничего не говорили о вашем муже?

— Нет.

— А Диц?

Аглая задумалась.

Да, Диц не раз спрашивал ее об Андрее за последний месяц. Он говорил, что знает его, что он хочет чем-то и в чем-то ему помочь. Как-то спрашивал, не может ли она передать ему письмо. „Почему же вы не пошлете по почте?“—спросила она тогда Дица. „Нет, уж лучше послать с верным человеком, а то почта доставляет неаккуратно“.

Аглая, вспомнив, рассказала это следователю.

— Откуда у вас столько денег, которые у вас нашли при аресте?

— Мне их дал Диц. Он делал ставки в карточной игре по моим указаниям, и когда выигрывал, отдавал деньги мне, как будто я их выиграла.

— Много их было?

— Я не считала.

— А в тот вечер на пирушке он не говорил вам, что обязательно надо отправить вашему мужу письмо и... и деньги?— спросил следователь, смотря пристально, как гипнотизер, в глаза Аглаи.

— Нет,—быстро и твердо ответила Аглая.—Может быть, еще не успел,—высказала она предположение:—ведь, никто не думал, что нас собираются арестовывать.

Следователь опять улыбнулся.

— Вы правы,—сказал он как бы про себя:—возможно, что они не успели... Да, они не успели,—громче повторил он, внезапно разгорячась.—Но теперь они успеют, гады... теперь они успеют.

Он захлопнул „дело“ и поднялся.

— Можете идти.

— Товарищ следователь... когда же вы меня освободите?.. Ведь я ни в чем неповинна...

Он посмотрел так, словно видел ее в первый раз.

— Освободить? Освободим, когда закончим все следствие.

— А это скоро?

— Скоро,—ответил следователь, думая о другом.—Как закончим, так и освободим.

## XXVII.

Пажитков, который день за днем падал все глубже и глубже в пропасть, никогда так и не узнал, что за его падением следили не только его друзья и те люди, которые знали его. Он так и не узнал, что военная шпионская организация, раскрытая в Москве, следила за каждым его шагом и радовалась его успехам. Когда доносили, что шайка Пажиткова пользуется популярностью среди крестьян, штаб военной шпионской организации изобретал способы, как бы помочь „пажитковскому движению“ деньгами и военными средствами, которые, в случае нужды, они надеялись переправить ему через польскую границу.

В тот вечер, когда он шел с Гнеушевым, когда светила луна, и когда Андрею не хотелось спать, а смертельно хотелось жить, он не пошел в овин, а пошел гулять один вдоль речных бань.

В банях девки мяли лен, пели песни и тискались с парнями.

— Зайти разве?—подумал Пажитков.

Ему было мучительно стыдно чего-то.

— Нет, нельзя. Погубишь все дело.

И вдруг он раскатило засмеялся: „Погубить дело... Какое дело, товарищ Пажитков?“

Он быстрым движением согнулся, словно убегая от преследователей, и решительными шагами вошел в одну из бань.

В этой бане сидел Самойленко. На коленях у него была коротконогая толстая девка в домотканой рубахе. В одной руке у Самойленки была бутылка самогонки, а другой он тискал девкину грудь.

При появлении Пажиткова Самойленко испуганно вскочил, но Андрей небрежно махнул ему рукой:

— Жарь!..

Самойленко понял его настроение и осмелел:

— Выпей матершинничку, товарищ начальник.

И налил ему чайный стакан самогона.

Пажитков выпил.

— Дай еще,—сказал он, протягивая стакан.

Самойленко внимательно посмотрел на него и налил еще.

— Не матершинник, а огонь! —сказал он с восторгом.

— Псиной пахнет,—отозвался Пажитков.

— Это—открепости,—объянил Самойленко.—Градусов полсотни будет, я думаю. И слезу гонит, и хряп чистит... Зажигательная!

Он рассмеялся.

Охмеление наступало медленно.

С приходом Андрея веселье стихло. Девки с показным старанием начали мять лен, стучали мялками, молча, сосредоточенно, словно хотели наверстать даром потерянное время. Песни замолкли. Парни и несколько человек из шайки Пажиткова скупились в темном углу и, вопросительно поглядывая на Андрея, ждали.

— Есть еще самогонка?—спросил Пажитков, на которого уже начал действовать алкоголь.

— Нет,—ответил Самойленко.

Он чувствовал себя с меньшей неловкостью, чем другие, и, поняв настроение Андрея, решил втянуть его в крупную пьянку.

— Посылай!—коротко приказал Пажитков.

Самойленко сунул деньги одному из парней.

— На все,—сказал он негромко.

Парень принес две четвертных бутылки, и пьянка началась. Девки, развращенные за время партизанской войны стоявшими в селе воинскими частями, скоро привыкли к Пажиткову. Выпив самогонки, они еще задорнее запели песни, уверенные, что угощение и награда им будут хорошие, если загулял сам начальник. Самойленко распоряжался и спаивал всех, а девок—в особенности.

Я своей-то красотой  
Очень уверена,  
Если Троцкий не возьмет—  
Выйду за Чичерина.

Потом подмывающее „яблочко“, потом появилась гармошка, и загорелся буйный пляс.

Плясал Самойленко с парнем, который до этого лез к Пажиткову целоваться и уверял его, что вступит завтра же в его отряд—„большевицкую банду“, говорил парень.

— Только дай мне, чтобы я командовал. Хоть одним человеком, но чтобы я командовал. Страсть люблю командовать!— орал парень, покручивая усы, которых еще не было:

— На-э-эво-о кру-у-гом... Ша-а-ом... арш!.

В пляске парень оказался мастаком. Он плясал серьезно и деловито, как все, что делают крестьяне, даже когда веселятся.

Самойленко плясал небрежно, и парень брал верх. Но когда дело дошло до последнего колена, Самойленко пустился вприсядку так лихо, что победа осталась на его стороне.

### XXVIII.

Ни мольбы, ни уверения в невинности, ни лесть, ни ссылка на большие знакомства—ничто не помогло: Радужного арестовали по ордеру с Б. Лубянки.

Его посадили в одиночку той же предварительной тюрьмы, где сидела и Аглая.

Радужный впал в отчаяние. Он, за время отсутствия Аглаи, сильно страдал от страха, боясь, что его запутают в каком-нибудь опасное дело, а теперь страдал от неизвестности до мучительной физической боли.

— А что, как расстреляют?

Суровый режим предварительной тюрьмы наводил на него мистический ужас. Хотя он и добился от секретаря туманных намеков на то, что Аглая арестована, но этого было слишком мало. Из страха перед возможностью ареста, Радужный решил было перебраться куда-нибудь на новое жилище, но другой Аглаи не было, и перебраться было некуда.

Он перебирал в памяти все ответы и намеки секретаря, к которому он ходил почти ежедневно, но ничего подробно узнать не мог. Секретарь иронически улыбался и делал таинственный вид, как будто знал многое, хотя он ничего не знал, а жеста Аглаи, который тогда она сделала на улице и который он понял так: „Пустяки, тут недоразумение: скоро выпутаемся“...—этого жеста было слишком мало. Радужный томился в неведении, пока его не вызвали на допрос.

Допрос этот длился несколько дней. Каждый день его вызывали в кабинет к следователю и спрашивали не об Аглае и не о Дице—о них спросили только мельком,—а об Андрее Пажиткове, о его ближайших товарищах и помощниках и о тех посторонних людях, которые когда-либо посещали штаб. В „деле“ он случайно увидел свое письмо к Пажиткову, но не придал этому значения.

Следователь ничего не сказал Радужному о Пажиткове, и Радужный почти к каждому слову наивно прибавлял:

— Господи!.. Да Андрей-то Егорыч!.. Да это золотой человек... вождь! Он за меня головой поручится. Мы с ним кровные братья по всем боям и по всем опасностям, которым мы подвергались вместе несчетно раз. Пажитков-то? Андрей-то Егорыч?.. Да вы спросите только его обо мне... Он уж вам расскажет...

Это незнание и эта наивность, которая была несомненна, и в особенности эта изумительная трусость, которую проявил Радужный при аресте и на допросе, спасли его.

„Этот галифетный хлыщ“—подумал о нем следователь,— совершенно безвреден... да, вероятно, и бесполезен.. Это — заяц, а не офицер“.

Сведения, которые дал Радужный, вполне совпадали с тем, что говорила Аглая. Было ясно, что их только еще втягивали в заговор, надеясь получить от них нужные сведения о Пажиткове и об его отряде, полагая, что он может пойти с ними вместе. Следователь, окончив допрос, решил освободить их обоих вместе: „Пусть ее путается, эта тварь. Они вполне стоят друг друга“.

## XXIX.

Аглая и Радужный были освобождены в один день. Вернувшись на свою квартиру, она только собрала нужное белье, чтобы сейчас же отправиться в баню, как пришел Радужный.

Они долго смотрели друг на друга и вдруг оба одновременно рассмеялись от радости, что они снова на свободе и снова вместе.

— Ты—когда?

— Только что. А ты?

— Тоже.

— История...

Они обнялись и поцеловались.

Радужный с усталым, но удовлетворенным и счастливым, видом опустился в кресло и закурил. Время от времени он почесывался то там, то тут.

— Тревожат?—смеясь, спросила Аглая.

— Ничего. В военной обстановке привыкаешь и не к этому.

Аглая продолжала собирать белье, посматривая на Радужного с кокетливо-хитрой улыбкой.

Радужный понял. Он обнял Аглаю и что-то тихо сказал ей на ухо. Аглая, покраснев—за время своего заключения в тюрьме она снова приобрела способность краснеть,—и слегка, все так же кокетливо, кивнула головой.

— Сейчас я тебе соберу белье.

Она собрала свое и его белье, аккуратно уложила в сумку и сумку вручила Радужному.

— Жаль, что не работают Сандуновские. Придется идти на Неглинный.

— Все равно,—ответил Радужный.—Там также есть семейные номера, хоть и похуже...

Они пошли в баню и вернулись только к вечеру.

А, когда они вернулись, их дождался бритый человек в поношенном демисезонном пальто, в высоких охотничьих сапогах, в больших круглых английских очках, которые ему, по-видимому, мешали смотреть, потому что он старался смотреть поверх стекол, в мягкой войлочной шляпе, в перчатках и с тросточкой.

От бани и от ходьбы лица у обоих были красны, и от них шел легкий парок, отдающий специфическим баннным запахом—запахом пота и распаренного веника; вид у обоих был счастливый и довольный.

Когда они вошли в комнату, бритый человек встал и с необычайным изумлением смотрел на Аглаю, то на Радужного.

— Аглая...—наконец, произнес он тоном укора и изумления.

Аглая узнала и тут же опустила на стул от страха и волнения.

— Андрей... Как же ты... не предупредил?!

Радужный почему-то вытянулся перед Пажитковым во фронт, держа в одной руке сумку с своим грязным бельем и бельем Аглаи.

Пажитков сидел и курил. То, что он увидел, и то, что сразу же понял, потому что хорошо знал Аглаю и Радужного,—не произвело на него того впечатления, какое мерещилось сейчас Аглае. У него было состояние непобедимого отращения—и только.

Аглая первая пришла в себя. Она решила, что в ее положении поможет только одно средство: наглость. И она скоро овладела собой, бросила свое пальто и начала снимать пальто с Пажиткова.

— Родной ты мой!..—говорила она приглушенным от охватившей ее нежности голосом.—Я тебя так ждала... а ты приходишь... и меня дома нет...

Аглая хотела поцеловать его, но Пажитков отстранился.

— Подожди, Аглая, тут... посторонние.

Радужный, положив сумку, протянул руку Андрею.

Пажитков молча, не смотря ему в лицо, коснулся его руки и покраснел. Ему невыразимо стыдно было за этих людей, один из которых—как-никак—был его товарищем в боях, а другая—жена.

„Отчего же они молчат о главном?“—думал Андрей. „Надо бы сейчас же сказать, чтобы не стать в это невыносимое, глупое положение“.

В это время у Аглаи был уже точно разработан план обороны.

Она тихо взяла сумку из рук Радужного, унесла ее в другую комнату и обратилась к нему с сухой вежливостью:

— Раздевайтесь, пожалуйста, Викентий Викентьевич. Видите: у меня сегодня семейная радость...

И, повернувшись к мужу, она начала объяснять, чувствуя, однако, что Пажитков понял все:

— А со мной несчастье было,—говорила Аглая, смотря на Андрея радостными, увлажненными глазами.—Я полтора месяца просидела в Чеке... Вышла только сегодня...и, конечно, в баню. У выхода встретила Викентия Викентьевича. Так рада была знакомому человеку... пригласила пить чай... И вот ты... Такая радость!..

„Зачем она врет?“—с тоской думал Андрей: „Разве я ее чем-нибудь связываю?..“

Он разделся и сел к столу.

Аглая суетилась, кричала на мать, на Аграфену, придиралась, что у нее неизвестно, куда пропали продукты, и кончила тем, что расплакалась.

— Что это ты?..—спросил Пажитков, подавляя в себе непобедимое презрение.

— Ах, ты совсем деревянный, Андрей!.. Больше года не видались, а ты, как идол какой... И лицо у тебя злое... подозрительное. А я так рада тебе, что не могу удержать слез...

„Уйти разве?“—подумал Андрей. „Я первый раз вижу, чтобы человек дошел до такой степени... падения... Как это она может“?..

Радужный впал в уныние: „Куда же я теперь пойду? Мне даже переночевать негде“.

Он разделся и сел так, чтобы Пажиткову не было видать его глаз,—боком к столу, в полуоборот от Андрея. Все-таки надо было начать хоть какой-нибудь разговор, но все слова куда-то провалились, и Радужный молчал, словно ему читали смертный приговор.

— Вы когда приехали?—спросил он, наконец. Голос у него был глухой и слегка дрожал.

Пажитков молча посмотрел на него. Губы сами собою сложились в презрительную гримасу.

— Я только-что с поезда.

Снова наступило молчание, еще более тяжелое, чем до этого разговора. Притом же Аглая ушла в кухню, чтобы самой следить за приготовлением еды.

„Она нарочно оставила меня этому волку на с'едение!“—со злобой подумал о ней Радужный.

И в великом отчаянии продолжал поддерживать разговор.

— Вызвали?—коротко спросил Радужный, стараясь быть развязнее.

— Нет, сам.

— Надолго?

— Не знаю.

— А как отряд?

— Отряд? — переспросил Пажитков, смотря прямо ему в лицо с нескрываемым презрением: — Отряд-то? Отряд-то. гражданин Радужный, по моему приказу, отправился на бан-дитский фронт против махновщины. А вы что тут подельваете, гражданин Радужный?

Радужный вспыхнул и, быстро поднявшись, снова едва не стал во фронт. „Фу, какой трус!—с отвращением подумал он про себя. И сказал:

— Простите, товарищ Пажитков... Я понимаю: вы очень устали с дороги. Я не во-время... Пойду я лучше к себе. Завтра если разрешите, зайду.

— Заходите,—равнодушно сказал Пажитков.

Он оделся и ушел, не увидавшись с Аглаей.

„Пусть его!“—злобно подумал Андрей.

Аглая принесла горячих блинчиков, аккуратно приготовлен-ную селедку на тарелке лодочкой. Мать тащила за ней та-релки, Аграфена—вскипевший самовар.

— Ушел?—спросила она, увидев, что в комнате нет Ра-дужного и его шинели. В этом вопросе Андрею почудилась скрытая тревога.

— Я его выгнал,—устало ответил Пажитков.—Но если хо-чешь, еще можно вернуть. Он где-нибудь на лестнице.

— Куда же он пошел?—спросила Аглая и вдруг покраснела. поняв свою оплошность.

— Домой, к себе...

— Ну, и пусть,—ответила Аглая, стараясь казаться равно-душной.

Пажитков молчал.

Вдребезги истрепанные нервы, его непримиримая гордость. толкнувшая его на тот страшный путь, постоянно страдающее самолюбие, которому теперь был нанесен беспощадный удар Аглаей и Радужным,—все это опять вернуло его к мучитель-ной мысли:

„Я погиб... погиб окончательно, и ничто меня не может спасти. Я всюду лишний... даже тут, у этой проститутки... своей жены“...

Аглая разливала чай. Чай был настоящий, его крепкий настой пахнул на Андрея давно забытым, приятным и ласко-вым покоем.

— Что ты теперь будешь делать?—спросил Пажитков.

Аглая не поняла.

— Буду снова служить. Я думаю, что мое место мне вер-нут. Ведь я же была арестована невинно.

Пажитков молчал.

„Нет, я тут совсем чужой, мне нечего делать. Надо ухо-дить. Надо уходить совсем“.

И с внезапной ясностью ему представилось все, что ждет его. Унизительная и изнурительная тюремная сидка, когда будут стеречь, может быть, знакомые товарищи. Потом, может быть, знакомый же товарищ, с которым приходилось бок-о-бок драться на фронте против бандитов и против белых, ночью пустит пулю в лоб. А тут Аглая будет жить с Радужным, ходить вместе в баню, пить по-семейному вот этакий душистый чай и есть блинчики с селедкой.

„Какое мне дело до нее? Какое мне дело до всего этого? Нет, я схожу с ума“.

— Андрей!..—с тоской позвала Аглая.

Не притрагиваясь ни к чаю ни к блинчикам, Пажитков поднялся и надел пальто.

— Куда ты?—спросила Аглая. В ней пробудился страх самки, когда она чувствует, что теряет мужчину навсегда, даже если не любит его.—Куда ты идешь?

Сгорбившись, словно на него давила великая тяжесть, Андрей вышел из квартиры. Медленно спустился по лестнице, медленно вышел на Тверскую и крикнул извозчика.

— На Курский вокзал! Только, пожалуйста, поскорее, чтобы не опоздать к поезду.

— Прибавьте, гражданин... Нынче вон какой овес-то... в сапожках ходит...

— Хорошо, прибавлю. Погоняй!

Извозчик цокнул на лошадь, помахал над крупом кнутом. Лошадь качнулась из стороны в сторону, дернула, и санки глухо заскрипели по умятому снегу.

„Вот и все“,—подумал Пажитков. Сердце ныло в смертельной тоске и было трудно дышать. Кровь тяжелыми медленными ударами билась в висках, что-то болело по обеим сторонам горла, мелкой дрожью дрожали колени.

„Водки бы теперь“, подумал Пажитков. „Напиться бы и—спать, спать, спать...“

### XXX.

Замыцкий, получив известие о налете на маршрутный поезд, в тот же день, когда у него был Гарусов, дал телеграфное распоряжение, чтобы начальника, который командовал частями против банды Пажиткова, немедленно сместили, а политкома послали в его распоряжение. Командира части он решил подвергнуть дисциплинарному взысканию, а политического комиссара откомандировать в партийный комитет с рапортом, как неспособного к военно-политической работе.

Посылая новую воинскую часть, Замыцкий дал настойчивое распоряжение ликвидировать банду Пажиткова без остатка, самыми суровыми мерами.

Но командование вновь посланного отряда, разбив банду и захватив в плен несколько сотен безоружных и смертельно уставших от боя людей, решило, что оно уничтожило всю банду целиком, при чем оно было уверено, что в бою погиб даже и главарь банды Андрей Пажитков, потому что был найден убитый с раздробленным черепом, похожий на него человек, в высоких охотничьих сапогах.

За эту ошибку комиссар и командир были наказаны, сам отряд вызван в центр, и теперь Замыцкий формировал политотдел для нового полка, который посылал на юг с таким заданием: изловить и уничтожить банду Пажиткова, а затем пойти на подмогу советским частям против усиливавшегося махновского движения.

Полк и политотдел были готовы. Нехватало только политкома полка.

„Кого бы это назначить?“—размышлял Замыцкий.

Политком нужен был решительный, хороший партиец и при этом знающий обстановку и условия борьбы против бандитов, особенно в этой местности.

„Вот чертовщина!—думал Замыцкий.—Эта проклятая резня с бандитами нас так доехала, что у нас все почти опытные военно-политические работники по санаториям да по госпиталям валяются. Хуже фронтовой войны.} Кого же, бы это назначить?“

Вошел дежурный и доложил:

— Вас хочет видеть товарищ Гарусов. Примете?

Замыцкий потер рукою лоб.

— Гарусов?.. Ах, черт!.. память все хуже и хуже... совсем до ручки дойдешь. Как? Гарусов?

— Да, Гарусов, товарищ Замыцкий.

— Ах, да!..

Замыцкий вспомнил.

— Ну, конечно, конечно же!—сказал он дежурному.—Пожалуйста!

Дежурный удалился, и скоро в кабинет вошел Гарусов.

Гарусов, так и не добившись себе жилья, рассердился на неприветливую столицу, на всю ее суетню и кажущуюся бесплодность и решил снова податься куда-нибудь на фронт. Когда начало усиливаться махновское движение, Гарусов тут же решил: „Вот где мне надо быть, а не в уютной комнатке с геранью и с канарейками. Еще женишься тут, того и гляди... Надо идти на фронт: там я нужнее“.

„Вот Гарусов—этот там был бы на месте“...—подумал Замыцкий, протягивая руку Гарусову. „У этого—опыт“...

— Ну, как?—спросил Замыцкий.—Устроились?

— А ну, вас!—огрызнулся полушутя Гарусов:—Тут у вас с торговлишкой какой-нибудь можно устроиться... а ведь я плохой торговец! Даже комнатенки дать не могут.

— А здоровье от пули вашего приятеля? — пошутил Замыцкий, вспомнив, что Гарусов был ранен в бою с бандой Пажиткова и то, что раньше они были большими друзьями, — вместе были в ссылке, — о чем также знал Замыцкий.

— Здоровье — ничего. Конечно, уже нет той легкости в движениях, — говорил Гарусов, добродушно улыбаясь: — в особенности, когда надо наклониться или быстро повернуться в сторону. Но пуля вынута, рана зажила, аппетит хороший... чего же еще?

— А настроение?

— На ять!

Замыцкий засмеялся, он внимательно всматривался в Гарусова, угадывая: пойдет он политкомом или отговорится чем-нибудь, чтобы увильнуть.

„Нет, он не увильнет“, — решил Замыцкий и сразу же предложил:

— А не пойти ли вам политкомом?.. Москва для военных людей — не мать, а мачеха. Как вы думаете?

Гарусов даже покраснел от волнения.

— Если уж говорить откровенно, так я за этим к вам и пришел. Надоело мне тут... да и жить негде... К тому же и по фронтовым товарищам соскучился.

— А по Пажиткове не соскучились? — спросил Замыцкий с дружелюбной насмешкой: — Пока он затих, но скоро где-нибудь вынырнет — я в этом уверен. Его надо ликвидировать окончательно! — прибавил он твердо: — без уступок и без сожаления.

Гарусов помолчал немного и ответил решительно, как писал приказ, который подлежит немедленному и точному выполнению:

— Да, без уступок и без сожаления!

Замыцкий что-то писал.

— Вот, — сказал он, протягивая Гарусову бумажку: — Передайте в канцелярию — вам напишут бумажку в Пур — я хочу, чтобы вас назначили политкомом. Вы вместе с полком поедете против Пажиткова, а потом — против Махно. Вы не возражаете?

Гарусов взял бумажку.

— Напротив, очень рад. Это — мое желание.

На другой же день Гарусов поехал вместе с штабом закончить формирование нового полка из отборных красноармейцев, дравшихся против бандитов и наиболее опытных в ведении этой борьбы.

Через неделю Гарусов вместе с полком и его службами двинулся на юг.

Перед отъездом в Москву Пажитков добыл документы на чужое имя: трудовую книжку, партийный билет и командировку одного военного учреждения. Эти документы ему не

понадобились, но на обратном пути они отсрочили ему смерть.

Недалеко от той станции, где ему надо было слезать, поезд был обыскан частью того полка, где Гарусов был политкомом. Тут был и сам Гарусов, который внимательно всматривался в лица всех, у кого проверял документы. И когда очередь дошла до Пажиткова, Гарусов внимательно посмотрел ему в лицо.

— Вы—партийный?—спросил Гарусов Пажиткова.

Пажитков собрал остатки своей воли и ничем не обнаружил охватившего его волнения и внезапного страха. Он молча протянул Гарусову партийный билет.

Гарусов, возвращая билет, внимательно вглядывался в лицо Пажиткова, казавшееся ему знакомым.

— Вы меня не знаете?—спросил Гарусов.

Пажитков опять молча покачал отрицательно головой.

— Удивительно!—Гарусов пожал плечами:—Вы работаете в Москве?

Пажитков опять молча кивнул головой и, с небрежной рассеянностью и деланно усталым видом, повалился на лавку.

Гарусов прошел дальше, продолжая вспоминать, где он встречал этого человека. „Нет, не может быть!—подумал он:— не может быть!“

### XXXI.

Когда Гарусов получил донесение, что банда Пажиткова, во главе с ним самим, ожесточенно нападает на махновские банды, он не удивился.

„Да, так! Андрей не мог кончить обыкновенным бандитом!“

Он усмехнулся про себя, вдруг почувствовал большую нежность и жалость к Пажиткову. „Он всегда был необыкновенным и всегда был индивидуалист... и всегда переоценивал свои силы и свое значение. И он кончит бандитом, но—необыкновенным бандитом“...

Банда Пажиткова, по донесениям, была по другую сторону территории, занятой махновцами, и нападать в первую очередь на Пажиткова не было никакого смысла.

„Нам надо немного выждать, — решил Гарусов: — Когда они изнуряют друг друга, мы прикончим разом и тех и других“.

Расчет был верен, но привести его в исполнение не удалось. Выждать больше было нельзя, потому что из центра пришел телеграфный приказ по прямому проводу—немедленно начать ликвидацию махновщины, которая снова грозила укрепиться на занятой ею территории и затянуть войну до весны. А весной махновщина перебралась бы в леса, и война затянулась бы до следующей зимы.

— Хорошо, — сказал Гарусов на заседании полкового штаба: — Приказание должно быть выполнено. Будем готовиться к обходному наступлению. Но нам придется призвать местные военные части: одним нам не справиться.

И штаб начал готовиться к обходному наступлению.

Была уже середина зимы.

Прошли косматые вьюги, протрещали первые ожесточенные морозы, и установилась ровная зимняя погода с оттепелями и легкими заморозками.

В наступлении участвовал и сам Гарусов. Он пошел в первой цепи, отмахнувшись от отговоров командира полка — бывшего рабочего, обнаружившего во время гражданской войны большие стратегические таланты, в особенности в борьбе с бандами.

— Не стоит вам итти, — сказал он Гарусову: — Жара в первой цепи будет адская. Свирепая баня будет, товарищ Гарусов.

— Пар костей не ломит, — отозвался шуткой Гарусов: — а вошь тепло любит, как говорят наши красноармейцы. Я пойду.

Наступление началось ранним утром, когда вздрагивала предутренняя синева. Махновцы сосредоточились в большом селе, и их не то под угрозой, не то добровольно, как донесла разведка, поддерживали крестьяне.

Цепь в белых балахонах рассыпалась по полю и начала брать расстояние между авангардом и селением. Всюду было тихо. Гарусов, с трудом вышагивая по снежной целине, тащил на горбу пулемет.

В селении был обычный утренний гомон. Перекликались петухи, изредка сонно мычали коровы, раза два скрипнул колесный журавель.

„Притаились, сволочи, — подумал Гарусов: — Не может быть, чтоб они не чуяли. Тут какая-нибудь хитрость“.

Цепь подвигалась быстро. Надо было пройти версты полторы, чтобы приблизиться на нужное расстояние и дать знак артиллерии — бить по деревне. Кроме того, надо было выиграть время, чтобы конный авангард успел обложить все селение, расставить батареи с флангов и в тылу противника. Туда была послана одна легкая батарея.

„Жаль, нет броневичка“, — подумал Гарусов.

Горизонт на востоке окрасился в сине-багровый цвет. Два огненно-желтых меча скрестились над темными зубцами леса, и обрывки прозрачных облаков, окрашенные утренней зарей, казались большими каплями крови. Было свежо. Легкий утренний мороз дал бодрое настроение.

Приблизившись на нужное расстояние, Гарусов скомандовал шедшему неподалеку фейерверкеру, чтобы он давал сигнал. Взвилась с треском ракета и вслед за нею, звонко вздваивая, ухнула батарея. Снаряд лег далеко за селением. Оказался перелет.

— Ну, бей в божий свет, как в конеечку!—досадливо выругался фейерверкер из моряков:—Не туда рожей поставили!

— Ничего!—бодро сказал Гарусов.—Дай-ка еще ракетку.

Снова взвилась ракета. Батареи, все так же звонко вздваивая, теперь уже гремели с двух сторон.

Гарусов начал прилаживать пулемет. И вдруг глаза его ослепил настолько яркий свет, точно вспыхнуло все селение.

— Фу, чорт... вот они где!

Как громадные факелы, пылали около овинов соломенные ометы, должно быть заранее облитые керосином. И тут же мгновенно вырос невероятный гомон, крик и визг, затрещали выстрелы, заржали кони. Еще через минуту из-за овинов галопом рванулись всадники и, увязая в неглубоком снегу, ринулись навстречу цепи.

Гарусов воткнул ложем в снег винтовку штыком наискось по направлению к скачущим всадникам и затрещал пулеметом.

— Успеют ли наши?—подумал он и почувствовал, что у него больно защемило сердце.

Было светло, как днем, но трудно было отличать на снежном фоне надвигающиеся цепи наступающих. По времени должна была идти уже третья цепь, а за ней—кавалерийский авангард.

Всадники неслись, некоторые лошади спотыкались и падали в снег и карабкались в сугробах вместе с всадниками. От вспыхнувшего пожара небо почернело; видны были только всадники, овины, скирды снопов да громадная круговина полей.

„Или они идиоты или хотят нас взять нахрапом, на отчаянность“,—подумал Гарусов.

Действительно, всадники были наилучшей мишенью. Когда цепь выравнилась и дала залп, сразу несколько коней встали на дыбы, а некоторые грохнулись на снег.

„Вот это хорошо, — подумал Гарусов: — Мы им вольем по настоящему“.

Фейерверкер помог ему сменить ленту, потом лег около него с винтовкой на снег и, неторопливо целясь, начал пускать пулю за пулей. Через несколько минут ствол винтовки у него накалился, как сковорода.

„А ведь они нас сомнут!“—подумал Гарусов.

Кавалерия, должно быть, запоздала или это только так показалось Гарусову. Назади ничего не было видно, и, за выстрелами и артиллерийской пальбой, совсем не слышно было шума, каким обыкновенно сопровождается кавалерийская атака. Пулемет у Гарусова тоже накалился, но он продолжал водить этим адским пульверизатором по линии наступающих.

Вдруг его внимание отвлекло неожиданное появление стройных колонн пехоты, наступающих сбоку—с правого фланга. Она вышла со стороны селения и наступала явно не на со-

ветские войска, а обволакивала собою, стройно развертываясь, наступающую махновскую кавалерию.

„Нет, это не наши. Наших тут быть не может“,—подумал Гарусов.

Пехота развертывалась стройно, почти механически. Первые колонны, попавшие в полосу света, наступали плотной стеной, производя залп за залпом. Эта стройность поразила Гарусова.

„Тут что-то знакомое, этакую штуку я где-то уже видел“.

Колонны прибавлялись,—продолжая развертываться, останавливались, поднимали винтовки, целились, стреляли, делали небольшое наступательное движение, останавливались, снова целились и снова стреляли по наступающим всадникам—уже не во фланг, а в тыл им.

Внимание всадников было разделено. Они замедлили бег, произошло некоторое смятение в их рядах, и потом большая часть их двинулась против обволакивавших их пехотных колонн.

В это время сзади явственно донесся гомон кавалерий. Через минуту пронесся головной эскадрон и врубился в гущу махновцев.

— Дostaнь мне лошадь!—приказал Гарусов фейерверкеру: —Чай, расплавил винтовку-то?

— Ничего,—ответил матрос и, схватив свою винтовку, побежал навстречу следующему эскадрону, с которым должна была прийти лошадь Гарусова.

В поле начинался настоящий ад. Грохот пушек, вереск пулеметов и винтовок, ржанье коней, крики и стоны,—все это слилось в такую оглушительную музыку, что у Гарусова запылились уши, напоминая затяжную зубную боль.

Вихрем промчался второй эскадрон, и через минуту матрос подвел Гарусову лошадь. Сам он также был на лошади и уже держал наготове шашку.

— Возьми пулемет!—сказал Гарусов.

Матрос погрузил на свою лошадь пулемет и оставшиеся ленты. — Что я буду делать с „максимкой“?—спросил он Гарусова.

— Отвези на левый фланг. Здесь он больше не нужен.

Гарусов хлестнул коня и поскакал по направлению к правому флангу, где уже происходил рукопашный бой махновской кавалерии с неизвестно откуда появившейся пехотой.

## XXXII.

Синий свет голубел. Огненные мечи на востоке разлетелись в куски, и капли крови растаяли и побледнели. Светло-зеленое небо к горизонту переходило в багровый цвет, а дальше— в желтый.

Кто-то зажег селение, и теперь оно пылало в нескольких

местах. Там стоял вой и гомон. Как далекая грустная музыка, в шуме барабанов и оглушительном все труб донесся тонкий детский плач. В мгновенный прорыв этого гомона откуда-то донесся тревожный свисток паровоза.

Гарусов врезался в гущу драки, уверенно и твердо нанося всадникам сабельные удары. Он был уже ранен в плечо, шинель была разрублена, и кромки, где был разруб, слегка взмокли от крови. Но боли не было: плечо жгло, словно его ошпарили кипятком—и только.

В гуще драки, куда вмешался Гарусов, несколько кавалеристов напали на горстку пехоты, отрезав ее от какой-то пехотной части. Высокий сухощавый пехотинец, в меховой куртке и в высоких охотничьих сапогах, ловко работал штыком, отбиваясь от настойчиво нападавших на него двух кавалеристов. Рядом с пехотинцем, также с винтовкой, ожесточенно, но неумело, отбивался какой-то безусый юноша с большими глазами, нападая на одного из кавалеристов, уже два раза—на глазах у Гарусова—ранивших высокого сухощавого человека в куртке.

Гарусов втиснулся в середину нападавших кавалеристов, и в тот момент, как он отхватил руку одному из них вместе с саблей, ловко направленной к шее высокого пехотинца, этот пехотинец, думая, что подоспел третий противник, сильным ударом штыка убил под Гарусовым лошадь. В это время юноша неожиданно ранил другого кавалериста, который закричал от неожиданной боли (юноша ударил его штыком в бок, когда он все внимание сосредоточил на кожаной куртке, чтобы нанести верный смертельный удар) и упал с лошади.

Падая, лошадь придавила Гарусову ногу. Юноша хотел нанести Гарусову удар штыком прямо в лицо, как сухощавый пехотинец оттолкнул его и протянул Гарусову руку, чтобы помочь выбраться из-под мертвой лошади.

— Не тронь,—сказал он юноше:—Это, должно быть, наш... Он сохранил мне голову.

Гарусов поднялся, продолжая держать в своей руке протянутую ему на помощь руку. Потом он почувствовал, как эта рука дрогнула... сделала какое-то судорожное движение, словно сиюсь освободиться, и замерла.

Гарусов всмотрелся в осунувшееся лицо и узнал того человека, которого недавно видел в поезде, потом по голосу, по фигуре, по пожатию большой сильной руки, узнал Пажиткова.

Оба они ослабели от ран. У Пажиткова, повидимому, раны были легкие, и он держался, но Гарусов, у которого рана сильно кровоточила, уже ослабел от потери крови и шатался.

— Вы ранены?—спросил юноша.

Он взял Гарусова под руку и повел в сторону, прочь от боя, за густые ряды наступающей пажитковской пехоты. Дойдя до задних рядов, юноша попросил двух солдат помочь ему, потому что Гарусов валился с ног. Солдаты сделали из винто-

вок носилки, устроили на них Гарусова и понесли в сторону от селения, где на -отлете, за околицей, стояла небольшая амбарушка—кузница.

### XXXIII.

Самойленко, Отсебятина и несколько махновцев нашли у попа самогонки и перепились. Перепившись, они изнасиловали двух дочерей попа, уже привыкших к насилиям махновцев и почти не сопротивлявшихся. Забрав кое-что ценное—часы, серебряный большой поповский крест, несколько колец и другую мелочь, они подожгли дом и пошли грабить дальше.

— Люблю войну,—восторженно сказал Отсебятина:—Ежели еще с годик т-так, у меня будет х-хорошее хозяйство... Оженюсь—и все по-боку.

Махновцы спяну в восторге стреляли из ноганов в окна домов, в обезумевших бегущих женщин и просто так—вдоль улицы—в кого попадет.

Было уже совсем светло. Бой уже начал ослабевать. Но выстрелы раздавались все ближе и ближе к селению.

Ограбив и запалив еще несколько домов, Самойленко сказал на ухо Отсебятине, чтобы не слышали махновцы:

— Нам пора утیکать. Ихних-то кроют... вишь, они бегут? Давай, режь винта...

Вмешавшись в толпу бегущих людей, они побежали не к месту боя, а туда, где не было слышно выстрелов. На поясе у Самойленко болтались две бомбы и ручная граната.

Пробежав селение, в поле они встретили группу из пажитковского отряда с ранеными.

Группа двигалась к кузнице, и Самойленко и Отсебятина увидели, что несут Пажиткова. Андрей был в сознании. Лицо его было мертвенно-бледно, правая нога откинута на самодельных носилках.

Самойленко и Отсебятина вырвали носилки, не слушая протестов, и понесли Пажиткова сами.

В кузнице, на шинели, лежал Гарусов с перевязанным тряпкой плечом. Рядом разостлали вторую шинель и положили на ней Пажиткова.

Самойленко и Отсебятина стояли у дверей кузницы, на карауле.

— Теперь нам хорошо,—подумал вслух Отсебятина:—Ежели тут Гарусов, нас не тронут.

— Еще, пожалуй, простят!—зло отозвался Самойленко:— Не уйти ли нам, парень, лучше с махновцами? У них веселее...

— Боязно, —ответил Отсебятина.

— Зато хозяйство будет... и поповны.

— Т-тебе смешно...

Они помолчали.

— А бой-то затихает, слышь?

— Затихает.

— Перебили махновцев-то?

— Не всех. Больше половины, чай, убежало. Им что?— прибавил Самойленко.—Сегодня их перебьют, а завтра у них опять армия. Они, дьяволы, плодовиты.

— Нет, боязно,— повторил Отсебятина.—В конце концов, их всех ликвидируют—д-дело ясное. Что посеешь, то и пожнешь.

— Именно!—насмешливо ответил Самойленко:— Что положишь, то и пожмешь. Ты, парень, человек практический.

#### XXXIV.

В поле участились выстрелы. Послышался рев и грохот.

В кузню вбежал Прохор.

— Они на нас наступают!.. — сказал он растерянно:— Товарищ Пажитков, как быть?.. Я—сдаюсь без бою... Я не могу стрелять в своих...

— Кто наступает?—спросил Пажитков, сиюсь подняться.

— Красная армия.

— Ты слышишь?—спросил Андрей, повернувшись к Гарусову.

— Слышу.

— Ну?..

— У них есть приказ.

— А ты?

Гарусов молчал.

Стрельба усиливалась. Шальная пуля стегнула по окну, разбила стекло и впилась в стену. В кузню вбежал Самойленко, растерзанный и страшный.

— Мы им победу выиграли,—прошептал он хрипло,—а они, суки, на нас... Товарищ Гарусов... я буду защищаться... я оставлю вас заложником.

Гарусов молчал.

— Ты молчишь?—злбно спросил Пажитков, смотря на Гарусова в упор воспаленным взглядом и вынул ногу.

Самойленко безумно метался по кузне и ревел быком.

Раздался оглушительный взрыв.

Наступающие видели, как вместе с оглушительным треском, словно тухлое яйцо на горячей золе, лопнула кузня, и к небу взвились ломаные столбы черного дыма. Черный дым облаком постоял над затихшими полями, смешался с снежными блестящими и опустился на землю грязно-серым туманом.

## Dolce far niente \*)

Под столетним кедром тени...  
*Tertia Vigilia. 1900.*

И после долгих, сложных, трудных  
Лет,—блеск полуденных долин,  
Свод сосен, сизо-изумрудных,  
В чернь кипарисов, в желчь маслин;

И дали моря зыбь цветная,  
Всех синих красок полукруг,  
Где томно тонет сонь дневная,  
Зоя уснуть—не вслух, не вдруг...

Расплавлен полдень; зорь аркады,  
Приблизясь, шлют ручьи огня...  
Но здесь трещат, как встарь, цикады  
И древний кедр признал меня.

Щекой припасть к коре шершавой,  
Вобрать в глаза дрожанья вод...  
Чу!—скрипнул ключ издавна ржавый,  
Дверь вскрыта в сон былой,—и вот.

Пока там, в море, льются ленты,  
Пока здесь, в уши, бьет прибой,  
Пью снова dolce far niente.  
Я, в юность возвращен судьбой.

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ.

8-го июля 1924 г. Алука.

---

\*) Дольче фар niente — итальянское выражение сладкое безделье.

\* \* \*

Снова выплыли годы из мрака,  
И шумят, как ромашковый луг.  
Мне припомнилась нынче собака,  
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,  
Как подгнивший под окнами клен,  
Но припомнил я девушку в белом,  
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,  
Но она мне, как песня, была,  
Потому что мои записки  
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,  
И мой почерк ей был незнаком,  
Но о чем-то подолгу мечтала  
У калины, за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...  
Не дождался... уехал... И вот  
Через годы... известным поэтом  
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,  
Но в ту ж масть, что с отливом всинь,  
С лаем ливисто-ошалелым  
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!  
Снова выплыла боль души,  
С этой болью я будто моложе,  
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,  
Но не лай ты! Не лай! Не лай!  
Хочешь, пес, я тебя поцелую  
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом,  
И, как друга, введу тебя в дом...  
Да, мне нравилась девушка в белом,  
Но теперь я люблю в голубом.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.

## Г р о з а.

Могучий мех с горячих круч подул.  
К селу лиловый докатился гул.

Взъершилась речка—голубая терка,  
Залепетала зелено ольха,  
И прозвучало на плетне задворка  
Тревожно кукуреку петуха.

Удар, другой... Кувалдит небо кто-то.  
С разлету ветер расстегнул ворота—

И обнаженно пазуха двора  
На ребра яслей, на худую бочку  
Накидывает, вспыхнув, тень-сорочку, —  
Но молния, как глаз огня, остра —

Весь двор пронзила вмиг... Вот гвозди-шляпки  
В пыли запрыгали... Цыпленок зябкий

Шмыгнул под клеть... А великан—кузнец  
Уже кует, кует стальные прутья  
И в речку упирает их конец,  
Другим проткнув набухших туч лоскутья.

Кузнец закал дает своим прутам,  
Гроза льет дождь в иссохший рот полям, —

И вот на мокро блещущем железе  
Восторг земли: ручьи и солнца луч,  
И—блуза синяя в прорывах туч,  
И радуга—свод кузницы в разрезе.

А Л Е К С Е Й   Л И П Е Ц К И Й.

## Признание.

Что ты мне поешь о дикой воле  
Вечера нахмуренная синь,  
Если ты не можешь приневолить  
Шляться мне просторами Руси.

Помню ночь, и шаткие вагоны,  
И луну на рельсовом пути:  
Мне тогда во мраке полусонном  
С ней хотелось плакать и кутить,

Оттого, что бодрым человеком  
Жил я в камнях, в городе моем,  
Где мои улыбчатые веки  
И любили и страдали днем.

Оттого и вечера мне чужды,  
И луна полночная жарка...  
Пьяным бы ходить по темным лужам,  
Вдребезги ложиться на кровать.

Революцию я знаю по обрывкам.  
Но беру все юно,—с горяча—  
И смотрю на мир, как смотрит Рыков  
На портрет любимый Ильича.

Говорят, что Ленина не стало...  
Тысячи других качает колыбель...  
Каждый век мне кажется вокзалом,  
Каждый час—лихая карусель.

Но за то, что в городе живу я  
И пою про каменный кожух—  
Песнь мою, лохматую, живую,  
Только тем, кто силен, покажу.

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ.

# Черноморское восстание \*).

(Воспоминания).

Крым в 1918 году.

14 мая 1918 года германские войска—около 60.000 человек всех родов оружия, включая матросов—заняли Севастополь.

Русская черноморская эскадра, чтобы не быть захваченной немцами, вышла в море под украинским флагом в ночь с 13 на 14 мая. При этом она попала под огонь немецких полевых батарей, на который не отвечала. На другой день эскадра стала на якорь у Новороссийска. Экипажи кораблей, за исключением крейсера «Воля» и нескольких миноносцев; были уже в своем большинстве проникнуты большевизмом.

Офицеры больше всего были озабочены тем, чтобы корабли не достались большевикам. Поэтому они во что бы то ни стало хотели вернуться в Севастополь (отметим, что война тогда была в полном разгаре, и что все эти «верные слуги родины», которые позже приветствовали «освободителей-французов», теперь готовы были отдать свои корабли «освободителям-немцам»). Но матросы предупредили события: 1-го июля большая часть кораблей была затоплена в Новороссийской бухте. Уведены были в Севастополь только дредноут «Воля» и еще несколько единиц, которые немедленно были захвачены германцами. Что же касается экипажа затопленных судов, то он впоследствии влился в Красную армию.

Германское командование, заняв Севастополь, искало опоры в татарской буржуазии. Немцы организовали крымское правительство; во главе которого стал генерал Сулькевич, родом казанский татарин. Управление городом было оставлено в руках городской думы, где большинство составляли меньшевики и эс-эры. Против них немецкие власти поддерживали реакционное думское меньшинство.

Правительство Сулькевича было глубоко реакционным. Как только оно очутилось у власти, оно сейчас же распустило на

---

\*) Продолжение. См. № 2.

местах все органы самоуправления и заменило их старыми царскими чиновниками. Все это, впрочем, не мешало правительству называть себя «демократическим».

Все же немцы не чувствовали себя в Севастополе господами положения. Рабочие кварталы были заняты войсками, а в некоторых стратегических пунктах города была даже расставлена артиллерия. Когда же пришло известие о ноябрьской революции в Германии, оно было восторженно встречено рабочими, а германские солдаты начали с ними брататься. Еще через несколько дней немецкие солдаты и матросы устроили большой митинг, на котором ораторы выступали с большевистскими лозунгами.

Ораторы требовали немедленного возвращения солдат на родину (через несколько месяцев французские солдаты и матросы выставили точно такое же требование). И немецкие войска добились эвакуации, хотя она, правда, очень затянулась.

И вот, 28 ноября <sup>1)</sup>, в разгар братания рабочих с немецкими войсками, союзная эскадра в составе 22 единиц вошла в севастопольский рейд. Первой мерой союзников было разоружить и эвакуировать морским путем германских солдат—не потому, что они были немцы, а потому, что они прониклись революционным духом.

### У Б И Ц Ы Г О Т О В Я Т С Я .

Французской политикой в то время руководили два зловещих человека: президент республики Пуанкаре и премьер-министр Клемансо. Оба ненавидели друг друга, но оба были связаны одним и тем же тупым воинственным национализмом. Как Пуанкаре, так и старый беспощадный политик Клемансо, проникнутые ненавистью к пролетариату, поняли, какую опасность для буржуазного строя представляла собой российская октябрьская революция. Поэтому, как только разгром Германии стал очевидным, Клемансо вплотную занялся русскими делами.

27 октября 1918 года Клемансо телеграфировал генералу Франше д'Эсперэ, главнокомандующему военными силами Антанты на Ближнем Востоке <sup>2)</sup>:

«На последнем военном совете Антанты были начаты переговоры об интервенции в России. Если соглашение по этому вопросу будет достигнуто, интервенция Антанты в южной России явится естественным продолжением военных операций союзных войск на Востоке. Операции в России должны развиваться согласно плану; предложенному генералом Бертело в его рапорте за № 12913/83».

<sup>1)</sup> В это время уже было заключено перемирие между союзниками и Германией. (Прим. пер.).

<sup>2)</sup> Его штаб находился в Салониках. (Прим. пер.).

Далее в телеграмме говорится:

«В связи с военными операциями в Румынии, интервенция в России дает нам новые возможности, а предстоящее занятие турецкой столицы облегчит занятие Одессы».

В другой телеграмме Клемансо набрасывает схему военных действий в южной России, которые, вместе с операциями на севере (Архангельск), востоке и юго-востоке (Кавказ), а также наряду с морской блокадой, должны были привести к полному окружению большевиков.

Таким образом, постепенно сжимая железное кольцо вокруг Советской России, чтобы огнем и голодом задавить российскую революцию, Клемансо надеялся помешать распространению в Европе коммунистических идей.

Генерал Франше д'Эсперэ телеграфировал в ответ:

«У меня недостаточно войск для оккупации такой обширной и холодной страны, как Россия. В крайнем случае, я мог бы занять Одессу и соседние с нею порты, но войска, которые *пока что* охотно идут против венгерцев и немцев, с большим трудом согласятся на распространение военных действий в сторону России и Украины. Интервенция в России может послужить для Франции источником серьезных затруднений».

Клемансо, однако не обратил внимания на ответ генерала, имевшего полное основание не очень доверять своим войскам.

Интервенция была решена. К тому же тут была замешана не одна только политика. Французским капиталистам принадлежало много предприятий, в особенности, угольных шахт в Донецком бассейне. А так как Донецкий бассейн расположен недалеко от Черноморского побережья, то все заинтересованные лица могли рассчитывать на то, что французские войска, без труда заняв Киев и Харьков, захватят и Донецкий бассейн. Добровольческая армия, набранная на месте и руководимая французским генеральным штабом, прикрывала бы союзнический оккупационный корпус, Одесса же должна была служить общей базой.

Генерал Франше д'Эсперэ писал 29 октября генералу русской добровольческой армии Эрделли:

«Я буду очень рад Вас принять. Франция всегда остается верной и надежной союзницей России. Истинную Россию она никогда не забудет. При первой возможности я отправлю суда и все необходимое для снабжения армии в Новороссийск».

А генерал Деникин, неспособный понять настоящее положение дел, заявлял в ноябре 1918 года, что целью армии Антанты является «попытка занять Москву и Центральную Россию».

Генерал Бертело, который должен был принять командование экспедиционным корпусом союзников в России, интриговал

в Бухаресте с целью заставить румын выставить для предстоящего похода значительные силы. Бертело дошел до того, что требовал от Румынии всеобщей мобилизации.

Тем временем дивизии восточного фронта стягивались к Салоникам, где их ожидала посадка на суда.

Как раз в этот момент сильная союзная эскадра, состоявшая из французских, английских, итальянских и греческих военных судов, находилась в Мудросе, куда прибыла делегация от турецкого правительства для обсуждения условий перемирия между Турцией и Антантой. Перемирие было действительно заключено в Мудросе 28 октября. От имени Антанты его подписал адмирал Колторп.

С прекращением военных действий сразу уменьшился поток радиотелеграмм, который во время войны непрерывно шел через море. Каково же было изумление радиотелеграфистов на военных кораблях Антанты, когда, начиная с момента перемирия, каждый день в три часа утра аппараты стали принимать обрывки длинных сообщений из Москвы. Из-за климатических условий и вследствие влияния Балканских гор радио эти часто приходили в искаженном виде, но в них все же попадались целые связные куски с подписью: «Народный комиссар по иностранным делам Чичерин».

Сперва с удивлением; а затем с удовольствием, матросы передавали друг другу и читали эти отрывки, которые беспощадно разоблачали заправил Антанты и призывали солдат, рабочих и крестьян к социальной революции. На кораблях впервые слышали слово «большевик». Матросы еще хорошенько не знали, что это слово означает, но среди них зародилась уже неясная симпатия к людям, умевшим с такою силою выразить их собственные чувства.

Надо сказать, что настроение во флоте было, с буржуазной точки зрения, отвратительным. Крупные боевые единицы в течение всей войны стояли у острова Корфу. Каждый офицер чувствовал себя царьком, и все они изощрали свою фантазию, придумывая для матросов бессмысленные и никому ненужные «занятия». Миноносцы 1-го и 6-го дивизионов пришли на Корфу из Адриатики, где понесли большие потери: 5 миноносцев и 7 подводных лодок были потоплены. И вот, матросы этих потрепанных дивизионов, прошедшие через все ужасы войны и привыкшие к очень тяжелой, но сравнительно свободной, обстановке, очутились после всех передрыг и тяжелых переходов на положении молодых солдат под гнетом железной дисциплины. На миноносцах матросы были так же озлоблены, как и на больших кораблях.

11-го ноября пришло известие о перемирии с Германией. Матросы бурно выражали свою радость, но офицеры не очень ликovali: людям было грубо отказано даже в полдневном отдыхе от занятий и работ. А на «Протэ» один юный мичман воскликнул:

«Как жаль; что все кончилось так скоро!» Это возмутило меня, и с ним у меня было бурное столкновение.

К 13-му ноября Дарданеллы были более или менее очищены от мин, и союзная эскадра в полном составе направилась к Константинополю. Французской эскадрой командовал вице-адмирал Амэ, с помощью совершенно тупоумного начальника штаба. Адмирал Амэ надеялся получить в скором времени место посланника, и от этого у него закружилась голова. Свою деятельность в качестве командира эскадры он начал с настоящего преступления, обнаружившего всю его бесчестность. На его флагманском линейном корабле «Дидро» свирепствовала «испанка». Две трети экипажа выбыли из строя. Но так как адмиралу показалось утомительным и скучным переходить со всем своим штабом на другой корабль, старший механик взялся довести «Дидро» до Константинополя с помощью того немногочисленного персонала, который еще держался на ногах. И вот «Дидро» вместо того, чтобы попасть в карантин, сделался в Константинополе командным центром эскадры, находившимся в непрерывных сношениях с остальными кораблями. Благодаря этому «испанка» (название, выдуманное с целью скрыть истинную сущность этой болезни, которая не что иное, как легкая форма чумы) распространилась по всей эскадре. Эпидемия быстро охватила и базы, открытые позже на побережье Черного моря. В одной из таких баз, в Варне, в непосильной борьбе с эпидемией, погиб единственный врач, два санитаря и множество матросов. Вице-адмирал Амэ и его офицеры тем временем продолжали истреблять людей, но уже другими способами.

С 16-го ноября в несколько дней отряды военных кораблей один за другим вышли в Черное море. Часть эскадры (20 единиц) взяла курс на Севастополь, куда пришла 22-го. Постояв там 48 часов и оставив на рейде несколько единиц, эскадра пошла в Новороссийск, а затем посетила порты северной Турции (Трапезунд и др.).

«Протэ» был отправлен со специальным заданием в Галац (Румыния) вместе с итальянским и английским миноносцами. Через несколько дней английский миноносец, имея на борту адмирала Боллара, пришел в Одессу, где его с большим торжеством встретили все бесчисленные организации, враждовавшие из-за власти, и французский «консул» Эно (большевики в приеме не принимали участия).

Генерал Франше д'Эспера, вынужденный против своей воли отправить войска в южную Россию, в «совершенно секретном приказе», отданном в середине ноября, высказал весь свой страх перед большевиками:

«Следует считаться с тем,—гласил приказ,—что с того момента, когда наша армия, развивая свои операции на русской территории, войдет в соприкосновение с большевистским населением; революционная пропаганда может

широко распространиться среди войск. Настойчиво предлагаю всем командирам частей бороться с такой пропагандой путем всемерной заботливости о материальном положении людей. Офицеры должны живо интересоваться вопросами довольствия, расквартирования и всем тем, что может улучшить быт солдата. В то же время командному составу вменяется в обязанность внимательно следить за духом людей: малейшие нарушения дисциплины должны караться беспощадно и о каждом таком случае предписываю немедленно мне доносить».

Сообщая этот приказ командирам кораблей; вице-адмирал Амэ от себя добавил следующее:

«Командующий флотом обращает внимание подчиненных ему командиров на необходимость неукоснительного выполнения приказа генерала Франше д'Эспера. Повидимому; во флоте начинают наблюдаться первые признаки изменнической пропаганды. Так, на борту крейсера «Дю Шайль»; пришедшего в Черное море в середине ноября, обнаружена вывешенная на батарее прокламация, призывающая кочегаров не допускать обращаться с собой, как с животными, и требовать человеческого обращения. Так как обнаружить автора воззвания оказалось невозможным, вице-адмирал, командующий флотом, приказал немедленно снять с корабля большую часть механиков и кочегаров. Командующий флотом обращает внимание командиров кораблей на тяжелые последствия, которые повлечет за собой мятеж на каком-либо боевом корабле в Черном море».

Отметим, что офицеры, если они, действительно, желали выполнить приказ генерала Франше д'Эспера, должны были бы прежде всего озаботиться пополнением запасов продовольствия; в которых стал ощущаться недостаток, как только начался поход на Россию. С другой стороны, распоряжение относительно крейсера «Дю Шайль» ярко рисует все тупоумие перепуганного адмирала. Никакой большевистской пропаганды на «Дю Шайле» вестись не могло, так как прокламацию нашли во время прохождения крейсера через Босфор. С другой стороны, если кочегары «Дю Шайля» были, действительно, революционерами, то адмирал, расовав их по остальным кораблям, сам разослал агитаторов по всему своему флоту.

Командир «Протэ» вызвал меня к себе и прочел мне вышеизложенный приказ. Это было тем более странно, что до сих пор мне передавались только приказы, касающиеся машин. Кончив чтение, командир обратился ко мне с слащавым видом:

— Я вас очень прошу внимательно прислушиваться к разговорам механиков и держать меня в курсе их настроения и бесед.

Я сейчас же ответил:

— Командир, мое дело смотреть за машинами, а не шмидить. Обратитесь к кому-нибудь другому.

Вельфелле извинился, сказав мне, что я его не так понял, и стал ждать случая отомстить мне.

1-го декабря в Одессу по железной дороге из Тирасполя прибыл отряд сербов. 4-го декабря пришел 4-ый дивизион польских легионеров. В тот же день на одесском рейде стали на якорь французские военные корабли «Мирабо», «Жюстис» и «Жюль Мишле».

Командир «Мирабо» принял начальство над союзной эскадрой в Одесском порту и произвел в городе парад десантных рот в полном вооружении. Вся городская буржуазия теснилась на главных улицах, чтобы посмотреть на французских матросов. Она была вне себя от восторга. Только и было разговоров, что о блестящей выправке французов. «Что за славные ребята!» — говорил один. «Полюбуйтесь на их загорелые лица», — подхватывал другой. Никто из этих добрых мещан не подозревал, что все эти матросы, проходившие перед ними, уже прониклись духом мятежа, стали почти революционером.

Рабочие в страшной злобе сжимали кулаки. Они тоже не знали, что матросы с «Мирабо», еще летом 1916 года братавшиеся в Тулоне с русскими матросами с «Аскольда», подвергались, как и их русские товарищи, наказаниям за то, что в самый разгар войны распевали «Интернационал» на своих кораблях.

На «Мирабо» прибыл в Одессу знаменитый капитан Ланжерон. Ему была поручена подготовка к высадке французских войск. 5 декабря в Одессу пришел английский броненосец «Сьюперб».

### Украина перед французской оккупацией.

Гражданская война на Украине разгоралась. Влияние украинских националистов (петлюровцев) и большевиков росло со дня на день. Наоборот, престиж гетмана Скоропадского и «добровольцев» падал. Чтобы удержать за собой средние слои населения, гетман отделился от добровольческого генерала Келлера. Когда же Петлюра подошел к Киеву всего на 20 верст, вострому гетману удалось по телефону связаться с «консулом» Эно, который обещал, что через два дня на выручку гетману к Киеву будут двинуты англо-французские войска.

Скоропадский, тот самый, который незадолго перед тем официально заявлял, что германские войска пришли на Украину для «водворения порядка», теперь, во имя того же порядка, зывал о помощи к французам. Ему было решительно все равно, какая армия—французская или немецкая—поможет ему удержаться у власти.

Между тем «консула» Эно осаждали с трех сторон. Он одновременно вел тайные переговоры с украинскими националистами-республиканцами (Петлюра), полуофициальные переговоры

с гетманом Скоропадским, и, наконец, поддерживал официальные, подчеркнуто дружественные, отношения с добровольцами. Самым характерным во всем этом было то, что так называемый «представитель Франции» поддерживал заядлых реакционеров и монархистов, какими были добровольцы. Этот авантюрист, впрочем, совершенно не разбирался в политическом положении, а просто старался иметь связь со всеми политическими течениями, чтобы при всех обстоятельствах сохранить выигрышное положение и примкнуть к тому, кто одержит верх. Эно упускал из виду только один политический фактор: он с упорной ненавистью относился к большевикам, а им-то как раз и принадлежало последнее слово. В своих речах и заявлениях Эно постоянно указывал на то, что «союзники пришли в Одессу, чтобы уничтожить в ней влияние австро-германцев». Если верить ему, у союзников никаких других целей не было. Подобные утверждения вскрывают всю непоследовательность и спутанность его политической линии.

Как только линейные корабли Антанты пришли в Одессу, «консул» принялся разыгрывать роль руководителя, во все путался и путал все. Свои приказы, письма и сообщения он неизменно подписывал так: «Французский консул в Киеве, облеченный особыми полномочиями». Тысячи лиц, бывшие свидетелями описываемых мною трагических событий, при воспоминании о них никогда не упускали случая подробно остановиться на скандальном поведении этого, с позволения сказать, представителя Франции. Начать с того, что он находился в полном подчинении у своей жены, бессарабской молдаванки, отлично говорившей по-русски. Она во все вмешивалась и всеми командовала. Сам же консул, несмотря на занятия высокой политикой, проводил почти все свое время в пирах и в настоящих оргиях (госпожа Эно располагала неслыханными суммами из секретных фондов). В интригах Эно была замешана еще другая женщина, его любовница, Вера Холодная. Она умерла внезапно, проболев всего два часа, и в городе ходили слухи, будто ее отравили за то, что она передавала сведения большевикам.

Само собой разумеется, что никаких намеков, ни устных, ни в печати, на поведение «консула» не допускалось. Специальная военная французская цензура довела бы до тюрьмы, а то и до стенки, всякого, кто посмел бы критиковать представителя демократической Франции.

В Одессе шел непрерывный кутеж, как будто французских морских офицеров и местную буржуазию охватило безумное стремление пожить во-всю перед концом.

Чтобы представить себе, кто командовал французской эскадрой, достаточно привести один пример. Мичман Пуарье был недоволен своим переводом с миноносца «Протэ» на линейный корабль «Жюстис». Однажды, в марте, в излюбленном французскими офицерами шкарном клубе, во главе которого стоял некий

турок Али-баба, мичман Пуарье жаловался на то, что его перевели на броненосец, тогда как он желал бы служить на миноносце. Али-баба вмешался в разговор и сказал:

— Вы сами виноваты. Отчего вы мне не сказали, что хотите служить на миноносце? Я бы вам это с удовольствием устроил.

Какой-то турок, по своему усмотрению, распоряжался офицерами французского флота! А ведь это происходило во время перемирия, т.-е. тогда, когда Антанта и Турция еще находились в состоянии войны между собой.

Что касается скандалов, то добровольцы могли дать французским офицерам много очков вперед. С приходом добровольцев была разрешена продажа спирта, запрещенная с 1914 г. В городе только и слышно было, что о пьянстве, воровстве, грабежах. Прокутившиеся офицеры добровольческой армии врывались даже в буржуазные дома и с револьверами в руках вымогали деньги. Вследствие этого, мелкая буржуазия, пока длилась оккупация, все больше теряла веру в достойных представителей царского режима и склонялась на сторону украинских националистов.

Поляки не отставали от добровольцев в диком пьянстве и безобразиях. Рассказывали, как один польский капитан в ресторане жестоко избил по щекам официанта за его «большевицкую рожу». Случай этот вызвал забастовку протеста всей прислуги ресторана.

Польские легионеры были одеты с иголочку и щеголяли в прекрасной, защитной, серо-голубой форме. Каждому сразу бросалось в глаза, что в то время, как все эти бандиты, от рядового до полковника, были так великолепно обмундированы, французские матросы ходили в лохмотьях, многие даже в деревянных башмаках.

Насилия поляков не прекращались, а «консул» Эно им покровительствовал и отказывался давать ход малейшей жалобе, хотя жаловались и рабочие организации, и городская дума. Поляки были силой, на которую Эно мог положиться, и поэтому им все шло с рук.

Влияние Петлюры росло, как с этим ни боролись. В середине декабря он занял Киев и заставил Скоропадского отказаться от власти. Украинские войска приближались к Одессе, а красные партизаны и крестьянские отряды под командой атамана Григорьева, стоявшего тогда на стороне советской власти, появились в районе Николаева. Одесса оказалась почти отрезанной от подвоза продовольствия, и это делало жизнь все более тяжелой и вызывало серьезную безработицу.

В 11 часов 10-го декабря Петлюра потребовал сдачи Одессы. 11 декабря украинские войска заняли вокзал. В городе, где не было никакой прочной власти, началась паника. Городская дума организовала нечто вроде милиции из студентов-добровольцев и еврейской молодежи. Милиция эта кое-как поддерживала по-

рядок. В ночь с 11-го на 12-е делегация городской думы подписала акт о сдаче города Петлюре.

«Консул» Эно постарался устроиться так, чтобы его нельзя было причислить ни к сторонникам Петлюры, ни к сторонникам городской думы. Он «забыл» про добровольцев, об'явил порт, Николаевский бульвар и прилегающие к нему кварталы французской зоной, а на все остальное махнул рукой. Добровольцы и высшая буржуазия в жестокой панике устремились в портовую зону и массами бросились на пароход «Саратов», который должен был отойти в Новороссийск. Но матросы в момент отхода отказались перевозить все это охвосте старого режима. Думаю, что это с их стороны было ошибкой, так как они могли бы одним ударом очистить город от контр-революционеров, которые через несколько дней с оружием в руках напали уже не только на украинцев, но и на рабочих.

Тогда добровольцы обратились к командующему французской эскадрой с просьбой послать на пароход отряд вооруженных матросов. Французское командование, однако, отказалось, так как прислуга на кораблях и без того была сведена к минимальному числу. Рассылать людей без пользы не представлялось возможным.

Добровольцами командовал тогда генерал Гришин-Алмазов, 30-летний авантюрист, красавец собой, любимец дам, и никуда негодный генерал. В Одессу его отправил Деникин со специальным поручением.

Гришин-Алмазов заключил с петлюровцами соглашение, в силу которого была установлена нейтральная зона, и добровольцы получили возможность держаться в окрестностях порта. Город оказался разделенным на две части. Впрочем, это было не только два разных города, сколько два разных государства. Чтобы перейти из украинской зоны в зону «добровольческую», нужны были паспорта и бесконечные визы.

### **Одесский пролетариат предупреждает.**

Рабочий класс, измученный голодом и безработицей, возмущался все больше и больше. Он бурно требовал, чтобы покончили сначала с «добровольцами», а затем и с украинцами. Под давлением масс, меньшевики, составлявшие большинство в городском управлении, решили созвать большой митинг в здании цирка. Коммунисты об этом узнали в последний момент и отправили на собрание товарища Клименко с лозунгом—«захвата власти».

Митинг состоялся в полдень 12 декабря, в цирке, самом обширном помещении, какое только можно было найти. Зал был битком набит громадной толпой, а на улице еще теснились тысячи рабочих.

Первым выступил эсер. Речь его на каждом шагу прерывали возгласы со всех концов зала. Хотя он требовал избрания Совета,

освобождения политических заключенных, уничтожения союзной контр-разведки, ареста белых диктаторов и возвращения рабочим организациям отнятых у них знамен и помещений,—толпа не слушала ни его, ни выступивших вслед за ним меньшевиков и эсеров.

Подлинное настроение массы обнаружилось в тот момент, когда в толпе вдруг заметили немецкого матроса. Ему устроили внушительную овацию, раздались возгласы: «Да здравствует советская Германия! Да здравствуют Советы!»

В тот самый момент, когда была предложена резолюция, Сергею Клименко удалось пробраться в зал и взять слово. Его встретили бурными приветствиями. Когда он заговорил, в зале настала полная тишина. Клименко присоединился к программе, изложенной первым оратором, но прибавил, что пора уже от слов перейти к делу, и поставил на голосование первое требование об освобождении заключенных. Предложение было принято единогласно, и толпа тотчас же бросилась к полицейскому участку, где содержались подследственные политические. При виде тысячной, решительно настроенной, толпы караул из студентов без сопротивления дал себя разоружить. Вмиг двери камер были открыты, и заключенные вышли на свободу среди приветствий и радостных слез.

Тут раздались голоса, призывающие идти к тюрьме, расположенной за городом. Городская дума, получив сведения о налете на участок, отправила к тюрьме броневик и вооруженный отряд с пулеметами. Но как только слух об освобождении заключенных распространился по городу, все профессиональные громилы Одессы, числом около 400 человек, под предводительством неуловимого «Мишки Японца», двинулись к тюрьме освобождать своих. Одновременно с ними явился и Сергей Клименко на раздобытой им пролетке. Громилы разоружили стражу, выбили двери и освободили всех уголовных. Клименко, со своей стороны, освобождал политических.

Разумеется, дело не обошлось без репрессий: нападающие перебили караульных и сожгли в сарае смотрителя. Несколько политических, правых эсеров, отказались выйти на свободу, ссылаясь на «незаконность освобождения».

Когда к тюрьме прибыл вооруженный отряд, нападающие и заключенные исчезли.

Следует отметить, что, вследствие освобождения уголовных, в городе, естественно, участились случаи воровства и грабежей. Когда рабочая милиция задерживала какого-нибудь громилу, он называл себя анархистом-экспроприатором. Дело приняло такой оборот, что союз одесских анархистов в конце декабря счел нужным расклеить по городу и опубликовать затем в своей газете «Воля Труда» (№ 1, январь 1919 г.) воззвание, в котором публично отмежевывался от бандитов.

«Всем вора и громилам!—гласило воззвание.—Союз анархистов обращается к вам с предупреждением. Вы—

продукт режима эксплуатации и насилия; созданного буржуазией. Если она страдает от вашей деятельности, тем хуже для нее: она пожинает то, что посеяла, и не нам ее защищать. В новом коммунистическом обществе, бороться за которое мы призваем пролетариат России и всего мира, все будет принадлежать всем. Не будет ни бедных, ни богатых, и поэтому не будет повода ни к воровству, ни к грабежу... Множество анархистов погибло на эшафоте и на виселицах. Во имя священного дела освобождения рабочего класса, за которое они погибли, совет союза анархистов предлагает вам немедленно прекратить возмутительные нарушения порядка, исходящие из вашей среды, перестать злоупотреблять памятью героев революции и «требовать» денег именем анархистов.

«Вместе с тем, союз анархистов предупреждает тех из вас; у которых не осталось ничего святого, и на которых не действуют призывы со стороны революционеров и рабочих:—все те, кто будет продолжать грабежи во имя дорогой нам анархии, будут рассматриваться, как буржуи, единственная цель которых набивать себе карманы. Мы их предупреждаем в последний раз, что в случаях злоупотребления нашим именем они будут расстреливаться на месте».

Большинство анархистов, входящих в маленькую одесскую группу, вело во время оккупации подпольную работу в контакте с коммунистами.

Само собой разумеется; воззвание осталось без последствий. Насилия продолжались, а когда город был занят французами, к профессиональным бандитам присоединились офицеры «добровольческой армии».

Освобождение политических заключенных; влив в рабочую среду энергичные, активные элементы, имело еще то преимущество, что придало рабочим уверенность в своих силах. Они в один голос требовали легального создания их боевого органа—Совета.

15 декабря делегаты фабрик и заводов предложили созвать общее собрание для разработки порядка выборов в Совет. Рабочие готовились к всеобщей забастовке на случай, если такое собрание будет запрещено.

На конференции представителей всех революционных партий и групп было постановлено открыть заседания Совета в четверг, 19-го (сессия эта, впрочем, не могла состояться из-за французской оккупации). Большой ошибкой было то, что Совет не был создан немедленно: в тот момент он мог бы захватить власть.

К 17-му декабря мандатная комиссия зарегистрировала уже 284 рабочих депутата.

## «Благоденя» демократической Франции.

Петлюра, бывший в курсе одесских событий, гораздо больше внимания уделял большевикам, чем добровольцам. Штаб Петлюры ввел в Одессе осадное положение, направленное против рабочих, как мера против созыва Совета.

В это время «консул» Эно получил сообщение о скором прибытии французских войск. 156-я дивизия первой вышла морем из Салоник и 12-го была уже в Константинополе.

Солдаты отправлялись в путь неохотно. Многие выражали желание узнать, куда их направляют. Тогда во всех частях был оглашен приказ, сообщавший, что войска предназначены для временной оккупации, что нет и речи о новой войне, и что солдаты очень скоро возвратятся во Францию.

12 декабря четыре транспорта с войсками, военным снаряжением и артиллерией вошли в Черное море под эскортом крейсера «Эрнест Ренан» и миноносца «Протэ». «Консул» Эно всячески ободрял добровольцев, между тем как Петлюра был терроризирован вестью о приближении французской армии.

Пользуясь высоким покровительством «консула»; один из командиров добровольческих частей, Луценко, расклеил по городу приказ о необходимости «истребить большевиков». И вот, в ночь с 13 на 14 к консулу приволокли восемь трупов расстрелянных рабочих.

За «консулом» Эно не стояло достаточных сил, и Петлюра это знал. Поэтому «консул» пустил в ход ловкий маневр. В приказе № 3, вступившем в силу 12 декабря, в 8 час. утра, представитель Франции объявлял, что «малейшее покушение на французскую зону будет отражено огнем с военных кораблей». А затем, во избежание недоразумений, он распорядился вывесить трехцветный (французский) флаг над зданием «Лионского Кредита» (акт чрезвычайно символический: капиталистическое учреждение, банк, под покровительством французского флага)!

В том же приказе «консул» доводил до всеобщего сведения, что «охрана города поручается остающимся в нем частям германских войск». Для него не существовали как будто ни войска украинской директории (Петлюра), занимавшие большую часть города, ни добровольцы, занимавшие остальную. «Консул» боялся только одной силы—коммунистов. Поэтому обращался к остаткам единственно организованной силы,—к немецким частям, хотя тогда, в эпоху перемирия, Франция и Германия формально еще находились в состоянии войны. Все это, конечно, не мешало и не мешает французским буржуа утверждать, что большевики—немецкие агенты.

Интересно было бы узнать, как те господа, которые требовали интервенции в России,—напр. Леба, депутат-социалист от Северного департамента и патриот, хотя и член II Интернационала,—

как эти люди истолкуют выходку «консула», поставившего город под охрану неприятельских солдат для того только, чтобы помешать рабочему классу взять то, что ему принадлежит?

13 декабря обрадованный Эно получил радио, извещавшее его о том, что французские транспорты взяли курс на Одессу. Он тотчас же издал приказ № 6, в котором говорилось: «Добровольческие части под начальством генерала Гришина-Алмазова займут утром 14 сего декабря передовую линию».

С неописуемым восторгом защитники царизма спустились с «Саратова» и вновь водворились в городе. В порту был усилен караул из французских матросов, а французская зона укреплена. Все эти меры предосторожности принимались не столько против возможного наступления петлюровцев, сколько против коммунистов.

14-го на берег был высажен десант английских матросов для усиления французских караулов в порту. Наконец, вечером 17-го транспорты подошли к пристани. Крейсер «Эрнест Ренан» стал на якорь на внешнем рейде, а миноносец «Протэ» вошел в порт.

Обрадованная и счастливая буржуазия теснилась на Николаевском бульваре. Рабочие, замешавшиеся в толпу, удрученные, но не павшие духом, в бешенстве сжимали кулаки при виде французских штыков, явившихся подавить восстание русского пролетариата.

На транспортах гремела полковая музыка, но среди солдат не было заметно никакого под'ема. Ни пения, ни возгласов. Казалось, что солдаты предчувствовали, для какой роли их привезли в Россию. Но пока их недовольство выражалось лишь в том, что они задирали матросские караулы, спрашивая их, почему они так поздно взяли за оружие, и предлагали им идти первыми в бой.

Два батальона зуавов было высажено на берег в тот же вечер. Остальные войска и военные материалы были выгружены в ночь с 17-го на 18-е. Французская контр-разведка расположилась на Екатерининской улице, в доме Бродского. Дом этот заслужил с тех пор печальную известность из-за тех ужасов, которые в нем творились.

В тот же вечер генерал Бертело, занимавшийся в Бухаресте политическим интриганством, от имени французского правительства переслал «консулу» Эно следующее радио для передачи Петлюре и коммунистам:

«Представителям Директории, а также всем военным и гражданским властям Киева и южной России.

Предлагаю вам довести до сведения большевистских главарей, а также Петлюры и Винниченко (начальник украинского штаба), что я буду считать их лично ответственными за

всякое вооруженное выступление и за малейшую попытку нарушить спокойствие в крае.

Генерал-лейтенант, главнокомандующий войсками в южной России, *Бертелло*.

Верно: Французский консул в Киеве, облеченный особыми полномочиями, *Эно*.

Здесь бравый генерал применял ту самую систему заложников, против которой так вопили патристические французские газеты, когда ее применяли немцы. Правда, в данном случае заложников было трудно захватить.

Центр французского противобольшевистского шпионажа находился в Бухаресте, возглавляемый капитаном 1 ранга, маркизом Дебеллоа, большим мастером весело проматывать по миллиону в год из секретных сумм.

Дух украинских войск стоял высоко. Они с воодушевлением рвались в бой, чтобы сбросить в море непрошенных чужеземцев. Но их начальники вечно колебались под постоянным страхом перед большевиками. До последнего момента украинские вожды надеялись, что союзники будут вести борьбу только с большевиками. Их надежды рассеялись, когда они прочли следующий приказ:

«Генерал Бориус, начальник 156 пех. дивизии, высадившейся в Одессе 18 декабря, в 8 час. утра, берет город под свое покровительство. Русские и иностранные части переходят под его командование. Союзники прибыли в Россию с тем, чтобы дать возможность здоровым и патристическим элементам восстановить порядок, нарушаемый уже столь долгое время ожесточенной гражданской войной. Генерал-майор Гришин-Алмазов, командующий частями добровольческой армии в Одессе, подчиняется генералу Бориусу и назначается военным губернатором города.

Подписано: Генерал *Бориус*».

Одновременно было расклеено следующее обращение:

«Всем воинским частям, органам печати, администрации и населению южной России.

Жители южной России! Вот уже скоро два года, как ваша богатая страна раздирается бесконечной гражданской войной. Настоящие уголовные преступники захватили в некоторых местах власть, угрожая жизни и имуществу граждан и друзей порядка. Преступники эти ввергли вашу страну в состояние настоящей анархии, которая приведет ее к полному разорению. Мы, ваши союзники, никогда не забывали ваших усилий на общее дело и хотим, чтобы страна ваша снова наслаждалась миром, снова стала богатой и великой. Поэтому мы решили занять своими войсками юг России, чтобы дать возможность здоровым гражданским элементам восстановить

порядок. Государства Антанты дадут вам все, в чем вы ощущаете недостаток, чтобы вы, наконец, получили возможность свободно, не опасаясь угроз со стороны преступных элементов, решить, какое правительство вы желаете иметь. Союзные войска приносят с собой свободу и безопасность и уйдут, как только будет восстановлено спокойствие. Боритесь со всей энергией с влиянием дурных советчиков, заинтересованных в том, чтобы сеять в стране смуту, и отнеситесь с полным доверием к государствам Антанты.

Главнокомандующий военными силами Антанты в южной России, *Бертело*.

Верно: Французский консул в Киеве, снабженный особыми полномочиями, *Эно*.

Документ этот, поистине, великолепен. Если его сочинял сам генерал Бертело, то в нем обнаруживается все умственное убожество французских генералов. Все это «обращение к населению» служит лучшим доказательством того, до какой степени они оказались неспособными разбираться в явлениях политической жизни. Они несли мир при помощи пушек!

В дальнейшем мы увидим, какими средствами французская полиция поддерживала общественный порядок и безопасность.

Из приведенного выше воззвания вытекало, что город целиком перешел в руки добровольцев. Украинские националисты не существовали больше для французов.

Украинская Директория потеряла голову. Тем не менее она решилась пред'явить союзникам ультиматум с требованием убрать поляков и добровольцев. Что же касается трудного вопроса об отношении к войскам Антанты, то Директория его обходила, заявив, что рассматривает их, как «гостей».

Нечего и говорить, что ультиматум не произвел на союзников никакого впечатления.

Когда же командующий украинскими войсками явился вечером 17-го декабря к капитану Ланжерону, последний принял его очень холодно и уклонился от раз'яснений.

Добровольцы, со своей стороны, пред'явили накануне вечером украинским республиканцам ультимативное требование очистить город в течение 20 часов.

Несмотря на это, украинцы не готовились к бою. Их части были разбросаны по всему городу. Никакого заранее разработанного плана обороны не имелось. Наоборот, операции добровольцев велись методически с помощью французов, и по плану, составленному французским штабом. В течение ночи было закончено боевое расположение союзных и добровольческих отрядов.

Генерал Бориус со своим штабом расположился в Лондонской гостинице, и под его наблюдением морское французское командование распределило боевые задачи между отдельными кораблями. Линейные корабли и большие крейсера были выстроены

на рейде, развернувшись бортом к городу, чтобы иметь наилучшее поле для обстрела. Там были корабли: «Вернио», «Мирабо», «Жюстис», «Жюль Мишле», «Эрнест Ренан». Миноносцы: «Протэ», «Даорте», «Коммандан Бори» и канонерка получили на утро особое задание. Только итальянский линейный корабль не вступил в боевую линию.

Миноносцы и корабли, расположенные по флангам боевой линии, должны были наблюдать за рабочими кварталами. Это доказывает с полной очевидностью, что союзное командование в действительности опасалось только большевиков. Если бы рабочее население приняло участие в бою, союзная эскадра, без всякого сомнения, открыла бы огонь.

На борту «Протэ» разыгралась неслыханная сцена. Когда я случайно увидел боевой приказ на следующий день, я вступил в жестокую перепалку с офицерами, при чем назвал их убийцами.

### Освободители.

К утру 18-го союзные войска были уже в полной боевой готовности. Орудия кораблей смотрели на город, а миноносцы и мелкие единицы беспрерывно сновали на флангах боевой линии эскадры.

Союзники приняли участие в бою мелкими отрядами, вкрапленными в ряды добровольцев, играя роль скорее вдохновителей наступления белых, чем самостоятельных бойцов. Но в случае отхода добровольцев союзнические части, несомненно, вмешались бы в дело.

Отметим, что все технические работы в добровольческих частях—например, проводка полевого телефона—были проделаны французскими солдатами.

В 8½ час. утра 18-го декабря первая добровольческая часть, не встретив сопротивления, прошла нейтральную зону и проникла в город. Другой отряд, в который были влиты французские солдаты под командой офицера, явился к государственному банку, где находился штаб украинских войск. Французский офицер первым вошел в помещение штаба и заявил, что он, в качестве представителя нейтральной державы, предлагает украинским республиканцам вступить в переговоры согласно вчерашнему ультиматуму. Офицер этот был немедленно задержан петлюровцами и получил возможность наблюдать, как бежали добровольцы, встреченные ружейным огнем. Его, впрочем, выпустили через несколько минут.

Весь день борьба сосредоточивалась вокруг банка и, в особенности, у вокзала, где шли ожесточенные бои между петлюровцами и добровольцами. Вокзал и прилегающие к нему кварталы переходили из рук в руки.

Около полудня украинцы поставили на Куликовом поле два 88-сантиметровых орудия и открыли огонь по пароходу

«Саратов», который стоял в порту и с которого добровольцы разгружали оружие и снаряжение. Выстрелы давали перелеты,— снаряды рвались в воздухе далеко за «Саратовым», на краю линии, по которой крейсировали французские миноносцы, наблюдавшие за рабочими кварталами. Как раз в это время один из самых спокойных матросов «Протэ», заведывающий офицерской кухней, возмущенный тем, что снова как будто попал в военную обстановку, спросил меня:

— Скоро ли кончится это безобразие?

Я ответил:

— Это зависит от всех вас. Если вы захотите, вы легко покончите с этим.

Будучи один знаком с системой насосов на миноносце, я решил залить водой пороховые камеры, если только начнется стрельба.

В пять часов вечера, после долгих переговоров, полковник Смилянко, от имени украинского командования, заключил перемирие с генералом Бориусом. Украинские войска должны были сдать оружие и очистить город. На самом деле никакого оружия украинцы не сдали. Громадных усилий стоило также прекратить стрельбу. Украинские солдаты громко говорили об измене. Когда в 5½ часов вечера миноносец «Даорте» с другими миноносцами вошел в порт, в него попал снаряд, к счастью, не разорвавшийся.

Несмотря на угрозы генерала Бориуса «рассматривать, как бандитов, и расстреливать на месте всех, захваченных с оружием после перемирия», украинцы не сдали ни одной винтовки и отошли частью к красным партизанам Григорьева, в район Николаева, частью — в рабочие кварталы, где передали оружие рабочим.

Город был занят союзниками и добровольцами, но в предместьях власть фактически находилась в руках вооруженной рабочей милиции.

### „Протэ“—яхта генерала Бертело.

На другой день утром «Протэ» ушел в Галац (Румыния) и в этого времени окончательно поступил в распоряжение генерала Бертело, неся службу связи между штабом генерала и Одессой, Севастополем и Новороссийском. «Протэ» перестал общаться с остальной эскадрой, и этим об'ясняется то особое положение, в котором он находился в момент военного мятежа. На «Протэ» ничего не знали о том, что происходило на других кораблях, и на миноносец ни разу не попала ни одна большевистская брошюра.

Зато со времени прихода в Галац на миноносце стали получаться длинные радио Чичерина из Москвы.

Командный состав усиленно обсуждал эти радио. Однообразие жизни в Галаце, а также холода и недостаток в теплом обмундировании, заставляли всех нас сидеть взаперти. Поэтому офицеры

с утра до вечера занимались дискуссиями о коммунизме, об успехах большевиков в России и об общем политическом положении. Через вестовых и прислугу кают-компаний команда получила первоначальные сведения о русской революции и о коммунизме. Матросы заинтересовались, среди них тоже начались разговоры на политические темы.

В это время случилось так, что надо было ремонтировать машины, для чего механикам с миноносца пришлось работать на берегу в румынском военно-морском арсенале. Я ходил туда ежедневно и завязал тесные связи с румынскими рабочими. Сначала я им носил хлеб, которого они почти совсем не получали, а затем стал заговаривать с ними по-итальянски о политике. Я очень скоро мог заметить, что все они вполне сочувствовали идеям большевизма. Они с жадностью поглощали самые беглые и отрывочные разъяснения, с восторгом узнавали о каждой удаче большевиков и приходили в отчаяние, когда дела большевиков, казалось, были плохи.

Среди рабочих арсенала шли толки о социал-демократах; но я остерегался связывать себя с этими идеологами демократии. Когда же мне удалось установить, что большинство рабочих Галаца склонялось к большевизму, я осторожно вошел в сношения с местными коммунистами. Во избежание подозрений, я держал с ними связь через тех же рабочих арсенала.

В арсенале я воочию убедился в том, как румынская буржуазия эксплуатирует народ. Каждый день мне приходилось быть свидетелем воровства и хищений со стороны развращенных офицеров и чиновников. Чем выше стоял человек по службе, тем больше он крал. Моя ненависть к ним прорвалась однажды в бурном столкновении с заводским инженером и с командиром моего миноносца Вельфелле, когда однажды в Браилове при приемке мазута они хотели заставить меня дать расписку в получении большего количества его, чем я на самом деле принял. Другой раз там же, в Браилове, чтобы придать рабочим больше уверенности в себе, мне удалось вывесить на несколько минут на мачте красный флаг под предлогом сигнализации с заводом. По этому случаю я получил жестокий и злобный разнос от командира миноносца.

В январе «Протэ» доставил в Новороссийск специальную миссию в составе генерала Щербачева, бывшего командующего русскими войсками в Добрудже, французского капитана Бертело и французского же лейтенанта Эглена. Миссия эта отправлялась в армию Деникина.

То, что я своими глазами увидел, и то, что я услышал о пресловутой добровольческой армии монархистов,—все это побудило меня принять решение о необходимости активной вооруженной борьбы с этими людьми, которые с французской помощью стремились раздавить русскую революцию, чтобы спасти свои привилегии. Но выступление наталкивалось на трудности.

Состав артиллеристов на кораблях почти целиком изменился с тех пор, как мы ушли из Неаполя, и состоял почти сплошь из очень молодых матросов. На них совсем нельзя было рассчитывать в случае какого бы то ни было выступления.

Механиков, людей политически более развитых, можно было бы обработать, но большинство среди них мало интересовалось политикой. Вдобавок к нам все время присылали молодых взамен старослужащих. Надо было подготовить почву. Я использовал в целях пропаганды технические собеседования, которые я лично вел со времени перемирия, и стал понемногу наводить своих слушателей на политические темы так, чтобы вывод получался всегда один: захват власти рабочим классом. Само собой разумеется, что в целях пропаганды я старался вызывать споры и в офицерской среде, где обсуждение политических вопросов принимало все более жгучий характер. Я не раз горько упрекал офицеров в пассивности и говорил им, что их следовало бы отдать под суд за то, что они нарушают конституцию, воюя с Россией. Мои речи доходили до команды и производили на нее огромное впечатление.

Мои споры с офицерами, резкость, с которой я нападаю на командный состав в разговорах с механиками, и мои разъяснения текущих событий дали первый мощный толчок развитию классового самосознания среди матросов. А с тех пор, как они начали общаться с солдатами 40-й дивизии, прибывшей несколько позже в Галац, они стали интересоваться и политическими событиями.

И, когда генерал Бертело со своим штабом торжественно входил на борт миноносца, ни он, ни его офицеры не подозревали; что многие матросы от души желали победы «неприятелю». «Яхта» главнокомандующего в действительности была пороховым погребом, готовым взлететь на воздух.

### Что они называют порядком.

Я уже упоминал о том, что вечером 18 декабря, в день боя на улицах Одессы, предместья были в руках рабочей милиции. Но уже через несколько дней союзное командование, почуввав опасность, отрядило значительные силы, чтобы разоружить рабочих. Союзники спохватились слишком поздно: еще в ночь с 19-го на 20-ое рабочая милиция ушла из города, чтобы присоединиться к красной гвардии.

Городская дума на заседании 19-го декабря признала совершенно недопустимым, чтобы власть в городе была передана генералу Гришину-Алмазову. Дума вынесла резолюцию протеста, которая, разумеется, осталась мертвой буквой.

23-го декабря высшая аристократия и буржуазия Одессы, военные власти, а также «консул» Эно, присутствовали на торжественных похоронах 26 добровольческих офицеров. Но, повидимому, все эти господа не чувствовали себя в полной безопасности, так как похоронную процессию сопровождали броневики.

В то же самое время оборванные рабочие хоронили 33 украинских солдат, гробы которых были покрыты не национальными флагами, а красной материей. Так рабочий класс воздавал должное украинцам, массами переходившим на сторону большевиков. При выходе с кладбища многие активные рабочие были арестованы, что вызвало 24-часовую забастовку протеста.

Утром 24-го начались обыски в рабочих кварталах, но ничего существенного не было обнаружено.

В знак протеста против преследований, одесский пролетариат решил отпраздновать годовщину боины 9 января 1905 года. Генерал-губернатор немедленно запретил всякие митинги и собрания. Обыски и аресты участились, при чем репрессии направлялись, главным образом, против секретарей профессиональных рабочих организаций. Блокада тем временем сказывалась все сильнее и сильнее, и безработица росла. Цены на продукты становились недоступными, спекуляция не знала удержу, и на глазах голодающих рабочих разрывалась картина роскоши, изобилия, азарта и кутежей французских, польских и добровольческих офицеров.

Чтобы получить представление о том, как держали себя тогда меньшевики, верные своему поведению во все время революции, достаточно отметить, что среди безработицы и голода они призвали сострадательных буржуа «делать взносы в кассы рабочих союзов». Разумеется, им не дали ни копейки, а вся их низость не избавила их от арестов наряду с большевиками.

Генерал Гришин-Алмазов разошелся до того, что опубликовал приказ, в котором грозил на первый раз тремя месяцами тюрьмы за каждое оскорбительное выражение по адресу офицеров и солдат оккупационного корпуса и добровольческой армии.

Дороговизну усилили еще больше союзные войска, взвинчивая цены благодаря своей высокой валюте. В городе замечалось такое недовольство, что Гришин-Алмазов ввел осадное положение, как меру, направленную против большевиков.

В это время как раз и был заключен союз мелкой буржуазии с оккупантами против революционного пролетариата: союзники и Петлюра подписали секретное соглашение.

Петлюра, желая подавить большевистское движение, разраставшееся с каждым днем, обратился к союзному командованию с письмом, в котором заявлял, что «Директория признает свои ошибки и просит французское правительство помочь ей в борьбе с большевиками. Директория, — говорилось в письме далее, — ставит себя под покровительство Франции и обращается к французским властям с просьбой давать ей руководящие указания по вопросам политическим, экономическим, финансовым и юридическим, пока продолжается борьба с большевиками. Директория надеется на то, что благодаря великодушию Франции и других держав Антанты, за Украиной, по окончании войны с большевиками, будут признаны те границы и та независимость, на которые она имеет право».

Договор, подписанный в конце января 1919 года между Директорией Украинской республики и союзниками, заключал в себе 14 статей. В статье 3-й Директория обязывалась вести борьбу с большевиками, где бы они ни находились; по статье 4-й украинские войска переходили в распоряжение особого командования, созданного для общей борьбы с советской властью; по ст. 7-й это особое командование составлялось из генерала Д'Ансельма, генерала Гришпина-Алмазова, представителя польских легионеров полковника Дзеваницкого и, наконец, из представителя войск Украинской республики. В статье 9-й говорилось о том, что добровольческие части должны действовать, как особые боевые единицы, в силу ст. 13-й Украинская республика обязывалась не допускать образования на своей территории Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В статье 14-й содержалось обязательство союзного командования оказывать украинцам всемерную поддержку в борьбе с большевиками, вплоть до посылки военных отрядов. Договор подписали: генерал Д'Ансельм, генерал Бориус, капитан Ланжерон (который, кажется, и вел переговоры), адмирал Баллэ, генерал Гришин-Алмазов и др.

Положение, таким образом, выяснилось. Начинаясь борьба капитализма, представленного союзниками, добровольцами и украинскими националистами, с революционным пролетариатом, руководимым коммунистами.

Союзные войска высаживались каждый день и вырастали численно.

22 января Раздельная была занята французами, сменившими там украинские части. К 26 января фронт установился: он шел полукругом с Одессой в центре, от Тирасполя на румынской границе через Колосовку, и на востоке упирался в море у Николаева. Фронтом командовал генерал Д'Ансельм, начальником штаба был полковник Фрейденберг. Красные войска опирались на севере на Харьков, где власть была в руках Советов, и—в районе Николаева и Херсона—на красных нерегулярных партизан Григорьева, авантюриста, временно примкнувшего к советской власти. Сила большевиков заключалась, однако, не в их армии; к тому же плохо одетой и плохо вооруженной, а в революционном под'еме рабочих, в частности, рабочих южной России (Одессы, Николаева, Херсона, Севастополя),—в под'еме, сокрушившем одновременно и контр-революцию и империализм Антанты.

Николаев и Херсон с конца 1918 года были заняты германскими войсками, и это обстоятельство помешало захватить их партизанам Григорьева.

В конце января 1919 года несколько легких французских и английских кораблей подошли к Херсону и эвакуировали оттуда в Николаев германских солдат. 1-го февраля французы и греки без сопротивления заняли Херсон. Другие французские части вместе с добровольцами заняли 2-го февраля Николаев.

4-го февраля было опубликовано обращение к населению, в котором говорилось, что союзники пришли для водворения порядка, что никто не будет подвергаться преследованиям за политические убеждения, и что никому не следует больше опасаться «бандитов и большевиков».

6-го февраля греки арестовали в Херсоне рабочую милицию (всего 305 человек) и ее начальника, чрезвычайно популярного в городе товарища Эйне. Эйне предстал перед военным судом в составе французских и греческих офицеров и членов городской думы. Разумеется, суд вынес смертный приговор, но он не был приведен в исполнение благодаря немедленному вмешательству пролетариата, очень многочисленного в Херсоне, и рабочей делегации, прибывшей из Одессы.

10-го февраля в Херсоне было опубликовано новое воззвание, в котором французское командование, после лицемерных ссылок на свою политическую нейтральность, заявляло, что оно взяло на себя задачу «охранять население от разбойников, грабителей и убийц, что виновные в таких деяниях будут предаваться французскому военному суду, и что сопротивляющиеся будут расстреливаться на месте».

Такова была французская оккупация.

А Н Д Р Э М А Р Т И.

*(Продолжение в следующем номере).*

---

## Крепостные поэты.

Нет таинства чудесней,  
Нет красоты иной,  
Как сеять зерна песней  
Над вешней целиной.

*Сергей Клычков.*

**Х**удожники, вышедшие из крепостного состояния, не раз привлекали у нас пытливое внимание писателей и ученых. Творческие дарования, пробившиеся наружу сквозь гнетущую толщу рабства, сумевшие преодолеть силою таланта тягостные условия унижений, гонений и насилий, являют редкие образцы героической воли и непоколебимой верности своему призванию. Имена замечательных живописцев, как Тропинин или Шибанов, выдающихся зодчих, как знаменитый Воронихин, или же крупных музыкальных самородков, как Гандошкин, отмечают только высшие художественные достижения огромной анонимной массы «дворовых» артистов, строивших в течение полутора веков историю русского искусства.

Неудивительно, что многочисленные безвестные художники крепостничества—от музыкантов помещичьих оркестров и актеров усадебных театров до доморощенных живописцев и архитекторов—часто становились у нас предметом изучения или изображения. От крепостного музыканта в «Неточке Незвановой» Достоевского и помещичьей актрисы в «Сороке-воровке» Герцена до недавнего проникновенного изображения смиренного усадебного портретиста в одной из повестей Шмелева мы имеем немало опытов воспроизведения трагической судьбы этих людей, рожденных для высшей творческой свободы и лишенных самой элементарной человеческой независимости.

Но по странной случайности до сих пор не изучена особая категория этих подневольных талантов—*крепостные поэты*. А между тем на их судьбе с наибольшей остротой сказывался тот печальный контраст косной среды и выдающегося дарования. При ярко выраженных устремлениях к творчеству они были менее нужны своему полновластному «господину», чем их бесчисленные товарищи по таланту и несчастью,—музыканты, актеры, живописцы или строители. Это усугубляло драматизм их жизненной судьбы и часто обрекало их на крушение творческих сил или личную жизненную катастрофу.

Поэты, вышедшие из самой гущи народа, по непосредственной цельности и энергии своего творчества представляют обычно исключительное явление. Неудивительно, что Ромен Роллан, стремясь создать тип великого худож-

ника Франции, обращается к образу крестьянина — Козьм Бренбону. И не странно ли, что глубоко-драматическая судьба крепостных поэтов России остается до сих пор в глубокой тени?

Попытаемся вывести из забвения замечательные образы этих безвестных народных поэтов, первых отдаленных предтеч современной рабочей и крестьянской поэзии.

## I.

«Со свойственной русскому человеку сметливостью, — говорит один из историков нашего искусства, — под страхом смертельной порки, крепостные по приказанию барина мгновенно превращались в архитекторов, поэтов, живописцев, музыкантов и астрономов». Такое «искусство по приказанию» не всегда удавалось. И все же «средний уровень художественных вкусов крепостной России был несравненно выше последующего «свободного творчества». Об'ясняется это именно тем, что в художники назначались люди из простой среды, а не «полуинтеллигенты», как это было после. Простой же русский крестьянин одарен от природы не только сметливостью, но и особым, совсем бессознательным, но неизменно верным, пониманием красоты. Недаром же кустари, еще не искушенные городскими науками, создали подлинно-прекрасные ремесла».

Если искусство поэзии и не выдвинуло из рядов «господских людей» таких первоклассных мастеров, каких вербовала из той же среды пластика или театр, — оно знало своих замечательных самоучек. Но отсутствие необходимой школы фатально сказалось на представителях словесного творчества, требующего особых познаний и обширной культуры. Вот почему обратившие на себя довольно шумное внимание современников поэты-крестьяне «первого призыва» затерялись в памяти и совершенно исчезли из нашей литературной традиции.

Но в наши дни необходимо вспомнить об этой группе забытых поэтов. Первые и прямые предшественники Есенина, Клюева, Радимова — ранние поэты крепостной деревни, — до сих пор не вошли в круг признанных, изучаемых, или хотя бы только читаемых, авторов.

Если не считать одного *Слепушкина*, известного, по крайней мере, по имени, все остальные представители маленькой плеяды крепостных поэтов совершенно неизвестны. Не говоря о читательской массе, — кто из историков русской поэзии, из исследователей нашего литературного развития обратил внимание на *Егора Алитанова*, *Ивана Сибирякова*, *Михаила Суханова*, *Ивана Кудрявцева*? Кто знает «рядового *Белкина*», крепостного лирика XVIII века *Ивана Майкова* или московского стихотворца 20-х годов крестьянина *Борисова*?

Где можно собрать о них необходимые справки, найти указания, хотя бы бегло познакомиться с деятельностью этих поэтов, выпустивших целый ряд стихотворных сборников и обративших на себя в свое время оживленное внимание журналистики, литературной критики, читателей и даже таких мастеров слова, как Пушкин и Дельвиг? Почти совершенно забытые во 2-ой половине XIX века, возродились ли они в эпоху усиленного интереса к прошлому русской поэзии, возбужденного символистами? Напомнили ли о них, наконец, в наши дни, когда крестьянское творчество стало в центре читательского внимания?

Странно сказать, — нет. Их так же не знают сегодня, как и до революции, и, разумеется, гораздо меньше, чем столетие назад. Своеобразная группа крепостных поэтов, органически связанная, представляющая несомненное живое целое, от которого потянулись нити к знаменитому Кольцову, Никитину, затем к Сурикову и Дрожжину и, наконец, к поэтам советской деревни, остается до сих пор в глубокой тени и пребывает в полной неизвестности.

Поистине поразительно отсутствие в нашей литературе указаний на этих поэтов, которые, во всяком случае, были русскими авторами, печатавшими книги и вызывавшими журнальные отзывы, т. е. несомненно подлежащими научной регистрации. Между тем, в лучшем библиографическом пособии по русской литературе XIX—XX в. — в «Русских писателях» И. В. Владиславлева — мы не находим ни одного упоминания о Слепушкине, Сибирякове, Алипанове, Суханове и проч. представителях группы, хотя находим там обстоятельные справки о Галиной, Жадовской, Ратгаузе и многих других мало известных или по заслугам забытых.

Напрасно мы бы стали искать имя Алипанова в самых крупных и образцовых энциклопедиях, как Брокгауз-Ефрон (старое и новое издание), Гранат и проч. В об'емистой «Русской поэзии» С. А. Венгерова, где уже представлены поэты первой четверти XIX века, как Нелединский, Мелецкий и Карамзин, мы тщетно искали бы имен крепостных поэтов<sup>1)</sup>.

Статьи, исследования и монографии невыправили этих пробелов справочных изданий. В живой, с большой любовью и теплом написанной книге В. Л. Львова-Рогачевского «Поэзия новой России; поэты полей и городских окраин» происхождение современных певцов деревни и предместий возводится к Кольцову, Никитину и Шевченко. Эти поэты 40-х и 60-х гг. совершенно справедливо признаются предтечами современных нам поэтов из крестьян и рабочих. Но на прямых предшественников этой группы мы не найдем здесь указаний, хотя не может быть сомнений, что трудовые поэты середины столетия, во главе с Кольцовым и Никитиным, продолжали направление, открытое не ими.

Если мы обратимся к «Русской лирике» И. Н. Розанова, тонко и обстоятельно написанной книге о поэтах, где представлены и «гусарская муза», и «поэзия земных утех», и «отверженные», где находим Шихматова и Олина, Филимонова и Попугаева, мы снова не найдем ни одного указания на перечисленных нами поэтов<sup>2)</sup>.

Так же обстоит дело и в сборниках, антологиях, хрестоматиях, собраниях русских стихотворений. Все эти «Русские музы», «Чтецы-декламаторы» и проч. неизменно молчат о крепостных поэтах. Ю. Н. Верховский внес в свою антологию «Пушкинской поры» одного Слепушкина, хотя стремился, видимо,

<sup>1)</sup> Только в известном «Критико-биографическом словаре писателей и ученых» Венгеров дает некоторые сведения об Алипанове, считая, что его песни «представляют собой совершенно невозможный литературный сор», его драматические опыты «невозможно плохи» и пр. Таким образом, основательное и всеобщее забвение Алипанова получало авторитетный аргумент.

<sup>2)</sup> Настоящая статья была закончена, когда в только что вышедшей книге И. Н. Розанова «Поэты двадцатых годов XIX века» (М. 1925) и посвященной изучению Дельвига, Козлова, Дениса Давыдова и Рыльева, мы нашли в введении несколько беглых замечаний об интересующей нас группе поэтов. Впрочем, Суханов, Сибиряков и Борисов и здесь не названы.

и большой полноте, включая в свое собрание поэтов анонимных или же совершенно неизвестных.

Из истории русской поэзии выпала целая глава. Не пора ли восстановить ее во всем ее своеобразии? Не следует ли внимательней взглянуть в эти поистине драматические биографии поэтов-самоучек? Если строфы их и не достигают высокого совершенства наших классиков,—как примечательны, необычны и мучительны жизненные пути этих крестьянских лириков!

Подлинным авантюристом веет на нас от судьбы рязанского стихотворца *Ивана Сибирякова*, который обучался в московском народном училище, был отдан затем в кондитеры, увлекся театром, стал актером, затем в 1812 г. отправился в заграничный поход, побывал в Польше, Германии, Франции, превосходно усвоил немецкий язык, увлекся поэзией, стал печататься в лучших русских журналах, был выкуплен за 10.000 из рабства, благодаря участию в нем Жуковского, Глинки и Вяземского, стал затем канцелярским служителем в каком-то департаменте, снова появился на первой столичной сцене и кончил жизнь суфлером «императорских театров»...

Глубокой грустью охвачена судьба *Егора Алипанова*, заводского мастерового, увенчанного за свои стихотворные опыты Российской Академией, награжденного за них золотыми часами «из дворцовой казны» и после долгих жизненных скитаний закончившего жизнь приказчиком на стеклянном заводе своего прежнего «барина».

Так же безотрадна биография архангельского крестьянина *Михаила Суханова*, который с детства получает жестокую выучку в лавке купца-менялы, где в полярную стужу он по 12 часов подряд пересчитывает деньги, так что пальцы примерзают к меди. Но жадное чтение по ночам открывает ему пути к творчеству и приводит понемногу к печатным выступлениям. Он попадает в Петербург, где встречает поддержку у президента Академии, что, впрочем, мало облегчает ему условия материального существования. К 1826 г. относится его жалоба:

Мой друг, не говори мне больше о стихах—  
Я занят всякой день претягостной работой,  
Взгляни, мозоли на руках...  
Но я с охотой  
Сношу тяжелый жребий мой...

Постоянные скитания, угроза рекрутчины, служба по откупам, работа в книжной лавке и, наконец, преждевременная смерть,—вот этапы этой судьбы. И на много ли отраднее биографические данные о Кудрявцеве, Белкине, Ив. Майкове или Борисове?

Попытаемся собрать первые материалы и наметить основные вехи к той затерянной главе из истории нашей поэзии, которую следует озаглавить: «Укрепостные поэты».

## II.

Я видел: земледел вздыхает над сохою.

*Алипанов.*

Начнем с Егора Алипанова. Это не только поэт-крестьянин, но и поэт-рабочий. В его стихах впервые, почти за столетие до октябрьской революции, мы находим попытку художественного отражения жизни завода, процесса

металлургического производства,—конечно, в его тогдашних примитивных формах—и, наконец, своеобразного быта крепостных рабочих, почти не изученного и не описанного у нас.

Это сочетание в одном лице крестьянской и рабочей поэзии представляет собой редкое явление. Для наших дней оно особенно примечательно: поэты города и деревни образуют теперь две различные,—правда, родственные,—но не слитые, семьи. Общее несходство бытового уклада, условия труда, окружающей среды и всех жизненных навыков и впечатлений создают здесь два художественных типа. Недаром современный поэт-крестьянин Ключев обращается к своему городскому собрату Кириллову:

Мы—ржаные, толоконные,  
Пестрядинные, запечные,  
Вы—чугунные, бетонные,  
Электрические, млечные.

«Я сын полей и вольных пашен, вы—дети фабрик, знойных руд»,—свидетельствует другой поэт-крестьянин, Я. Тисленко, в стихотворении «Рабочим»

Ваш мир—огонь и медь машины,  
Мой—златорунные поля...

Этого разделения не было и, конечно, не могло быть столетие назад. Один и тот же крепостной человек мог выполнять полевые работы и стоять у горна помещичьего завода. Несложные заводские операции еще не выработали самостоятельных форм рабочего быта и представляли только один из многочисленных видов общего подневольного труда.

Это сказалось полностью на жизни, деятельности и творчестве одного из крупнейших представителей нашей забытой плеяды, авторе многочисленных стихотворений, басен, песен, повести в стихах, водевиля, сказок. Литературное наследие Алипанова не только исторически примечательно,—оно во многом предвосхищает запросы, темы и задания поэтов наших дней. Личность его приобретает поэтому для нас особый интерес и значение.

Восстановим основные вехи его биографии.

Сын мастерового при Людиновском горном заводе, Егор Ипатьевич Алипанов родился в Калужской губернии в 1802 году. Отец его был крепостным секунд-майора Мальцова. «Воспитание молодого Алипанова,—рассказывает один из его современников,—предоставлено было самой природе... Читать без правил грамматики и писать кое-как выучился он у отставного сержанта».

После некоторого внутреннего кризиса—увлечения духовными книгами и мечтаний о монастыре—он поступает мастеровым на завод, выполняя здесь различные работы и поручения. Плотник и столяр на заводских мастерских, он вскоре, очевидно, выдвигается благодаря своему уму и развитию и в 1824 г. получает должность по приему, отправке и продаже заводского чугуна. С этого времени он каждый год совершает на барке поездку в Петербург, каждую зиму проводит в Зубцове, «находясь у приема товара».

Все это обогащает запас его впечатлений, развивает его литературные наклонности, настойчиво обращает его к поэтической работе. Этому всячески способствует страсть Алипанова к книгам и возможность во время петербургских стоянок знакомиться с поэтическими новинками. «Много сочинений заучил он наизусть,—сообщает один из его первых биографов,—потому что гармония

стиха и рифмы полюбились Алипанову». Богатая школа разнообразного житейского опыта как бы пополняется жадными чтениями поэтов. Созерцательная натура, полная творческих наблюдений, только ждет необходимого толчка, чтоб развернуться и действовать.

Этот момент наступает. В руки Алипанова попадают стихотворения Слепушкина. Это решает его судьбу и определяет его писательское направление.

Алипанов пишет свое первое стихотворение: послание Слепушкину. Он приветствует в нем «певца полей», «жильца рыбацкой мирной слободы» и восхищается его поэмой «Времена года». Пейзажному жанру Слепушкина он противопоставляет картины «кристальной фабрики», где среди огня, дыма и расплавленного стекла он любит наблюдать «старанье к трудам всегда поспешных мастеров»...

Этим открывается стихотворческая деятельность Алипанова. Не полагаясь на самобытное творчество и рано привыкший к труду, он погружается в усиленную работу по изучению стихотворного ремесла. Его «Послание к русским стихотворцам» свидетельствует о близком знакомстве нашего поэта с Пушкиным (особенно, с «Русланом и Людмилой»); его романс «Грусть по милой» написан на голос «Гляжу я безмолвно на черную шаль».

По форме, по строфам, размерам и приемам Алипанова можно судить о его несомненном знакомстве с Батюшковым, Дельвигом, Ломоносовым, Жуковским, Крыловым. В своих эпиграфах и заглавиях он называет Кантемира и Державина. Для поэта-самоучки 20-х годов это весьма основательная поэтическая подготовка.

Он, несомненно, приобретает большие познания не только в истории поэзии, но и в теории стихосложения. Имеются сведения, что Алипанов тщательно изучал известный в пушкинское время «Словарь древней и новой поэзии» Остолопова, эту замечательную литературную энциклопедию, поэтику и трактат о стихе<sup>1)</sup>.

Его первый критик и биограф, небезызвестный литератор 20-х годов Борис Федоров, был прав, отмечая «удивительную чегкость, с которою Алипанов пишет стихи разным мерами». В этом сказалась не только природная способность поэта-крестьянина, но и его тщательное изучение стихотворного искусства не только по лучшему теоретическому руководству, но и по всем классическим образцам русской поэзии.

В середине 20-х годов Алипанов решается представить свои стихотворные опыты на суд некоторых столичных литераторов. Это открывает ему путь в журналы, и стихи его начинают довольно часто появляться в «Отечественных Записках», в «Литературных Прибавлениях» к «Русскому Инвалиду», в детском журнале.

Басни Алипанова обращают на него внимание официального ученого мира. В 1831 г. он, как баснописец, получает одобрение Российской Академии Наук, которая издает «на своем иждивении» том его фбуллистических опытов, наградив автора серебряной медалью с надписью «За похвальные в российской словесности упражнения».

<sup>1)</sup> Словарь древней и новой поэзии, составленный Николаем Остолоповым, действительным и почетным членом разных ученых обществ. Три части. Спб. 1821.—Отдельные статьи из этого словаря, напр., «О пародии», «О комедии» и друг., печатались в старом «Вестнике Европы», 1815, 1816 г.г. и след.

Это вызывает решительный перелом в судьбе Алипанова. Получалась некоторая социальная несообразность, смущавшая даже крепостническую совесть николаевского общества. Поэт, увенчанный Академией, продолжал оставаться принадлежностью «секунд-майора господина Мальцова», который сохранял все свои права на продажу академического лауреата, наказание его розгами и проч. Академия не шла пужным ходатайствовать за освобождение Алипанова от крепостного состояния, а его «владелец» почувствовал себя вынужденным выдать ему вольноотпускную.

Это, конечно, еще далеко не обеспечивало Алипанову благополучного существования. Он приписывается к петербургскому обществу мецан и затем на всю свою остальную жизнь оказывается обреченным на поиски мест, служб и заработков. За последние четверть века своей жизни Алипанов служил управляющим дачами Мордвинова, казенным десятником на постройке «Николаевской» железной дороги, приказчиком на стеклянном заводе своего прежнего помещика Мальцова. Пробовал Алипанов завести и свою типографию, но дело не пошло, и все его сбережения погибли.

Женившись еще в 1837 г. на дочери своего первого вдохновителя Слепушкина, Алипанов должен был постоянно заботиться о своей обширной семье. Творческая работа, очевидно, задерживалась тяжелыми условиями борьбы за существование. Силы крестьянского поэта были надломлены, и жизнь явно пошла по неправильному руслу. В последний раз его видели в 1856 году на Мальцовском стеклянном заводе, где он служил приказчиком.

«Заботливость о многочисленном семействе и непостоянство счастья жизни изменили его характер, — свидетельствует очевидец, — на лице приметна глубокая задумчивость, а в разговоре безнадежность на счастье»...

Точная дата смерти Алипанова неизвестна. Но уже в 50-е годы жизнь в смысле творческой работы и процесса умственного роста была изжита. Драма крепостного поэта наметилась до конца и достигла своего апогея. Остаток жизни ушел на медленное умирание.

Такова была жизненная судьба одного из первых поэтов деревни и фабрики.

### III

Драматизм его необычной участи отразился на его творчестве. На первый взгляд столь спокойное и безоблачное, оно таит в себе следы тех глубоких противоречий, которыми была полна биография Алипанова.

Мы видели, что поэт-мастерской прилежно учился своему искусству. С громадной восприимчивостью и несомненной чуткостью к вопросам поэтических форм он воспроизвел в своем творчестве различные жанры, установившиеся к тому времени в русской поэзии. Хвалебная ода, идиллия, элегия, сатира, басня, эпиграмма, эклога, все это им изучено, понято, усвоено и отражено по всем предписаниям современной поэтики. Алипанов стремится быть на уровне эстетических приемов своей эпохи и тщательно усваивает себе выработанный словарь, образы, часто даже звуковые приемы всех признанных мастеров современной лирики.

Это придавало несколько условный тон его поэтическому стилю и нередко вызывало упреки в ненужной искусственности его стихов. В этом отношении представляет интерес недавно открытый отзыв Дельвига о первом сборнике

Алипанова, напечатанный в «Литературной Газете» незадолго до смерти пушкинского друга.

«С тех пор, как появились у нас первые стихотворения Слепушкина, мы видим уже несколько поселян-стихотворцев, и в некоторых из них заметны дарования, хотя, к сожалению, по большей части худо направленные. Таков и новый стихотворец Егор Алипанов. Если бы он, по примеру Слепушкина, выражал простые свои чувства, или описывал незатейливый быт своего состояния, словом, писал о том, что ему знакомо не по-наслышке, часто сбивчивой и неверной, тогда стихотворения его нравились бы и образованным читателям, как отголоски чувств и понятий простосердечного сына природы. Но одыли такие стихотворения, назово, напр., „*Видение Амура*“, доказывают только, что стихотворец-самоучка старался отгадывать новое, ему неизвестное, и не отгадывал. Похвально стремление природного таланта возвыситься до языка поэтического; но издатели его произведений должны бережно поступать с его начатками и говорить ему правду прямо и откровенно. На кого должен преимущественно действовать поэт-поселянин? Разумеется, на людей одного с ним звания. Но если он будет говорить языком, им несродным, если станет изображать предметы, им вовсе неизвестные, и употреблять имена, странные и неизвестные их слуху, то поселяне просто не поймут его, а люди высших званий найдут в произведениях его только несовершенство и тщетное усилие достигнуть недостижимого».

Если Дельвиг и прав, отмечая «несовершенство» поэтического стиля Алипанова и разумно указывая ему на необходимость разрабатывать с возможной простотой близкие ему темы,—в отзыве редактора «Литературной Газеты» чрезмерно чувствуется сословный подход к «поэту-поселянину». Недооценил Дельвиг и огромной теоретической работы Алипанова по усвоению приемов и средств современного поэтического языка, т.-е. тех именно свойств, которые сообщали его опытам стихотворную грамотность и чувство глубокого уважения к форме,—начала, несомненно, прогрессивные и ценные для поэта-самоучки.

Алипанов с замечательным искусством и большой художественной чуткостью улавливает различные поэтические стили своей эпохи. Формы сатирического послания Пушкина, идиллии Карамзина, элегии Батюшкова им усвоены безукоризненно. Нельзя не отметить тонкого чутья в понимании любовной баллады и в опыте воспроизведения жанра Жуковского:

Тщетно друга ожидает  
Эрезина и вздыхает.  
Грустно села под окном,  
Подпираясь локотком.  
Тщетно взоры вдаль стремятся,  
Вот зоря спешит заняться,  
Отуманен дол и луг,  
Часто бьет крылом петух,  
Ветерок ковыль волнует,  
Томно горлица воркует,  
Эрезина друга ждет,—  
Он не едет, он нейдет.

Так же удачно стилизовано «под Жуковского» стихотворение «Полночь у кладбища», где даже имеется такой перепев:

...Лишь каркал черный вран, шумя крылом...

Эта восприимчивость и способность к творческому усвоению трудного поэтического стиля приводит на память слова одного из живших в России иностранцев—Фабра: «Нет народа, который бы с большей легкостью схватывал

все отенки и который бы лучше умел их себе присваивать. Барин наудачу отбирает несколько крепостных мальчиков для разных ремесел: этот должен быть сапожником, тот маляром, третий часовщиком, четвертый музыкантом... Каждый легко и без усилия идет по намеченному пути.

Поэзия Алипанова свидетельствует о таком же даре счастливой и быстрой восприимчивости. Он одинаково легко и верно воспроизводит характер романтической баллады и героический стиль старых классиков. Мы находим у него целый ряд опытов в этой холодной и искусственной манере. Сюда относится, конечно, весь цикл «военных песен» Алипанова. Жанр этот в двадцатые годы еще далеко не изжил себя, и мы встречаем у самого Пушкина немало образцов того поэтического милитаризма, который обращает нас к громкой героической оде XVIII века. Такие опыты Алипанова, как «Русские воины графу Паскевичу-Эриванскому», «Песня по переходе за Балкан», «Разлука воинов», «Ода на мир с Турциею», нередко снабженные эпиграфами из Державина, написаны в духе классической традиции, отличаются большой напряженностью и в поэтическом наследии нашего стихотворца представляют наименьший интерес.

Гораздо примечательнее сельские идиллии Алипанова. Хотя и здесь в жертву литературной манере приносится творческая непосредственность, но в этих «Сельских вечерах», «Сельских святках», «Пастушеских песнях» и проч. сквозь пасторальные клише уже часто проглядывают живые черты быта. Костюмы, музыкальные инструменты, игры и маскарадные потехи— все это запечатлено четкими штрихами и может послужить этнографу.

...Звучит балалайка,  
Там, слышно, гудит и двуструнный гудок,  
«Подай-ка, подай-ка—  
Так дедушка крикнул,—мне звонкий рожек».  
Вот песни запели  
А дед заиграл;—  
.....  
Платки златотканны  
Вилсь ветерком,  
Блестят сарафаны  
Кумачны нарядным златым галувом...

#### IV.

Но Алипанов был не только умелым подражателем и стилизатором. Смелым обращением к темам, еще ни разу не затронутым в русской поэзии, он в полной мере проявил независимость своих вдохновений и свою несомненную склонность к новаторству.

Мы уже отметили, что Алипанов первый ввел в русскую поэзию тему фабрики. В целом ряде своих стихотворений он дает у нас совершенно новые описания напряженной коллективной работы на чугунно-литейных и стеклянных заводах. Он открывает в нашей лирике первую страницу пролетарского творчества.

Эта тема трактуется им, правда, в старинных тонах героической оды или типичного «размышления» поэтов XVIII века. Но интересна сама мысль применить Ломоносовский «высокий стиль» к напряженной, шумной, мощной жизни машин и коллективного труда. Таковы, напр., его «Заводские работы»,

которые при всем несовершенстве стиха остаются у нас первым гимном рабочего своему заводу.

Люблю смотреть работ стремленье,  
Стоя в заводской мастерской,  
И вижу дивное явление...  
Не Этна ль пламенем зияет?  
Там искры с шумом вверх летят,  
Клоноча, лава прах снедает,  
И вихри звезд золотых кипят.  
Таков завод Людинов горной.  
Там дым густой свет дневный тмит,  
Там пламенем дышет горн огромной,  
И млатов стук, как гром, гремит.  
Река огня в отверстие льется,  
Мехов гул томный раздается,  
И озеро огня стоит,—  
Народ всегда в трудах кипит.  
Здесь точат копия стальные,  
Мечи воинственных полков... и т. д.

Все эти риторические вопросы, величественные картины, патетические образы явно обращают к ломоносовской манере.

Но та же тема трактуется Алипановым и спокойнее, в тоне реального описания. В стихотворении «Труды заводских мастеров» мы находим описание корпуса «железного завода» с его кирпичными горнами и бревенчатыми сводами на каменных стенах. Описан весь процесс работы с момента команды «почтенного мастера» *верхового*. Картина засуетившегося завода изображается во всех деталях: кто тащит уголь, кто чугуны, кто разводит огонь или пропускает воду в колеса.

Засуетились старанья.  
Все мастера в трудах кипят,  
Мехов раздалась завыванья,  
И искры из горнил летят.

Льется расплавленный чугун, и «в горнах огромными буграми металлы грубые слились»... Вокруг горнила собирается толпа рабочих «в заплатах кожаных». Соединенными усилиями с помощью «большой кочерги» к молоту катят «крицу».

Огромный молот поднимался  
И крицу плющил и долбил...

Наконец, после того, как в атмосфере неимоверного жара с грохотом раздробляется тяжелая руда, наступает час отдыха—пот льется рекою «с чела рабочих мастеров», расходящихся на обед.

Вот поистине страница «*производственной поэзии*». В строфах забытого стихотворца пушкинской поры дано подробное и наглядное изображение тогдашнего состояния металлического завода. Примитивные приемы работы отражены одним из ее участников с громадным знанием дела, с глубоким пониманием его, с любовью ко всем этапам общей работы, без боязни технических терминов и прозаических картин.

В другом стихотворении той же эпохи дана беглая картина стеклянного завода в движении и работе. Это сближает Алипанова по творчеству и судьбе с нашим современником Г. Е. Нечавкиным. Автор «Песен старого рабочего»

выпущенных Госиздатом в 1922 г.) родился на сельском стекольном заводе в семье рабочего-стекольщика и сам продолжал профессию своего отца. В своем творчестве он отразил органическую привязанность крестьянина-рабочего и к деревенскому пейзажу, и к заводской работе. Стихи, в которых он описывает гигантское жерло машины, изрыгающее расплавленное стекло и вызывающее по всему заводу свету гномов-рабочих—

С выражением истома  
И в движениях, и в глазах—

обращают нас к забытым строфам нашего первого поэта-рабочего, к тем алипановским «гимнам заводу», которые остались, вероятно, неизвестными и Нечаеву, и другим пролетарским авторам.

К этому «рабочему циклу» близко примыкает стихотворение Алипанова «Судоходство во время Троицына дня». В нем, как это часто бывает у нашего поэта, сочетание двух стилей. Общий фон—традиционный пасторальный пейзаж, в заключении модный элегический мотив—страдание «темной души» в разлуке с любимой. Но в центре мы находим тему, еще не затронутую в русской поэзии: «...бурлаки топорами срубали пни молодых берез... Дровами барки нарядили... Приказчик, взойдя на полати, отдал приказ: «пора отваливать». Коренной отчаливает, «и дружно грянули веслами со всем усердьем бурлаки». Общая гребля продолжается, пока лощан не отдаст приказа плыть по течению. Излагается беседа отдыхающих гребцов—рассказ инвалида 12 года об участии в партизанской войне, беседы других «о том, что лошади дорожке, и сколько у кого земли» и проч.

При обычной и, по вполне понятным соображениям, благополучно-идиллической трактовке этой темы мы и здесь находим широко схваченную трудовую картину старого быта. Едва ли не первый Алипанов вводит в русскую поэзию *бурлака*. Этот новый образ только в следующем поэтическом поколении получит незабываемую трагическую трактовку в заунывных песнях Некрасова, затем у Дрожжина («бывало, берегом реки тянули барку бурлаки и проливали тяжкий пот...») и, наконец, в наши дни у Александра Ширяевца («уплыву, как только вспенился Волга-матушка река»).

Стоит перелистать любую антологию поэтов пушкинской эпохи, пересмотреть все известные стихотворные сборники, альманахи и журналы того времени, чтоб убедиться, насколько в выборе своих «рабочих» тем Алипанов независим и самобытен. Среди любовных алегий 20-х годов, посвященных и посланных, «гусарских» пьес, опытов в античном стиле, «подражаний псалмам», романсов, путевых картин, даже революционных гимнов, мы ни у кого не находим этих первых очерков «поэзии труда». За Алипановым остается заслуга решительного обнищания русской лирической тематики, введения в нее тех мотивов, которым только через столетие, уже после октябрьской революции, суждено будет стать у нас господствующими и центральными.

## V.

Но что удивительное всего в литературном наследии Алипанова, это наличие в нем явных нот социального протеста. Казалось бы, в «николаевскую эпоху» поэту из крепостных менее всего возможно было проявить

себя с этой стороны. Не требовалось ли от него, направив, всяческой «благонадежности» и даже активной преданности своим полновластным «господам» в виде хвалебных од и торжественных приветствий?

И все же Алипанов удается провести сквозь эти вполне благополучные строфы свои горькие раздумия о человеческом неравенстве, о власти денег, о тяжелой неправде существующих взаимоотношений. Он это делает обычно в форме внешне безобидной сатиры или же невинной басни, заостренной, впрочем, к концу довольно горестной моралью. Здесь обычны заключения вроде: «Трудно доброе сказать о том, кто силится бессильных притеснять», «С терпением жребий свой, несчастные, снесите, от истуканов же пособий не просите», «С таким судьей чрез две недели зубастые беззубых съели», «Молчи—проглотят, свет таков», «Не худо злым давать поменьше сил», и проч.

Иногда этот глухой протест отливается в довольно откровенную притчу, как напр., в отрывке «Собачья жизнь»:

За пляску нежилась Фиделька у господ;  
Барбос, хранящий двор, прикован у ворот,  
А потчуют его костями лишь на стуже.  
Вот правда светская: полезному—жить хуже.

Замечательно, что Алипанов разворачивает эти темы социального протеста преимущественно в форме *басни*, которая в наши дни стала излюбленным жанром самого популярного пролетарского поэта—Демьяна Бедного. Баснописец после октябрьской эпохи с несомненным чутьем уловил один из наиболее близких народу видов сатиры и поучения. Недаром мы находим форму басни почти у всех представителей «крепостной поэзии».

К этой форме близки сатирические отрывки Алипанова. В очерке «Кривая совесть Клим» он дает острую зарисовку кушца, обирающего народ:

Клим столько обманул людей в моих глазах,  
С безменом плутовским таскаясь в деревнях,  
Презря права, закон, кривил своей душою;  
В защиту лжи своей он являлся бороною,  
Лишь был бы сундучок, набитый серебром,  
Нет нужды, хоть ходи крестьянина босиком.  
Крестьянину беда, когда теснят оброком,  
К нему тащит муки в унынии глубоком,  
Саженой за пятьсот не дохода палат,  
Снидает малахай, хоть рад, хотя не рад;  
Пондон тут отдаст, сгибая грубу спину,  
И просьбой, и слезой сучает мешанину.  
За полцены дает: возьми, отец, на пуд,  
А Клим тому и рад...

Остро и наблюдательно намечена дальнейшая судьба «мироеда»:

И в думу он спешит с купецким капиталом,  
И стал уже знаком кушцам и генералам...

Клим становится домовладельцем, богачом и, в конечном счете, банкротом.

Весьма искусным приемом Алипанов изображает в другом послании обирательство народа мелкой уездной бюрократией николаевской поры. Он рисует для этого крестьянина, который будто бы «мечтает пойти в солдаты»,—

это во времена всеобщего кошмарного ужаса перед рекрутчиной! Такой, впрочем фантастический, образ нужен поэту, чтоб излить уже подлинное, горькое недовольство мужика своей обычной участью: солдатчина ему нужна, как избавление от бесперывного и сплошного грабежа его скудного хозяйства всевозможным чиновным людям:

Приказные тогда б забыли эти моды,  
 Чтоб требовать с меня на масляной подводке.  
 .....  
 Я мелких поросят в поклоны б не давал,  
 Которых лишь себе берет теперь под'ячий,  
 Рассыльный из суда, за взятками ходячий;  
 Барашка, петушка исправнику отдай,  
 Повытчице в поклон цыпляток посылай,  
 А тут отыщется ветчинный обиратель,  
 Почтенный человек, наш сельский заседатель...  
 Глядишь, приедет к нам в деревню секретарь.  
 Как хочешь, для него яичницу изжарь,  
 И земскому давай на разные издержки,  
 На перья, кунорос, чернильные орешки,  
 На лапти, сапоги десятским, ходокам,  
 И выборным давай, и земским сторожам,  
 И то, и се отдай, жирей сам на мякине...

Таким же умелым приемом Алипанов вводит свой протест измученного труженика даже в хвалебную оду своему «барину»: «Чувства крестьян по заведении свекловичного сахарного завода Иваном Акимовичем Мальцовым». В строфы традиционной похвалы поэт включает свою горькую думу о непосильном крестьянском труде:

Бывало, вставши, мы весною  
 Влачили с плугом по полям,  
 Всегда с вечернею зарею  
 Брели, намаившись, к домам.  
 В дни летни зноем утомлялись  
 И бремя тяжестей несли,  
 Зимой работой утруждались,  
 Но скудный плед приобрели.  
 Серпы и плуги притупляли,  
 Волы устали от трудов,  
 Овечки плодом истощали  
 Молоко скудело от коров.

Весь этот правдивый рассказ вкрадывается в похвалу господину, который дал мудрый приказ засеивать нивы «плодоносной свекловицей»: «Теперь нас труд не утомляет» и т. д.

И, наконец, горькую участь крепостного поэта Алипанов воплощает в образе нищего музыканта. В глухом лесу, в осеннюю непогоду, без спутника бредет этот обездоленный, паделенный для жизни лишь «гитарой, да сумой»...—«Чем откупщик меда умнее? А в счастье он живет»,—раздается столь обычный для Алипанова мотив социального протеста, явственно звучащий сквозь все поэтические прикрасы его похвальных од.

Совершенно очевидно, что в другую эпоху, при иных условиях жизни, труда и творчества эти сдержанные ноты возмущения развернулись бы в гневные гимны и мятежные песни.

## VI.

Но Алипанов был связан своей эпохой. В период его роста и развития как в социальном, так и в чисто художественном, отношении еще не совершилось в раскрепощения русского языка и стиха от застоявшихся форм ушедшего столетия. Огромная работа Пушкина, его ближайших предшественников и всей его плеяды еще не была завершена и, во всяком случае, еще не дошла до народного сознания в эпоху первых опытов Алипанова (начало 20-х годов). Крепостные поэты 20-х годов еще оставались во власти отживающих традиций и дряхлеющей поэтики, наложивших свой тлетворный отпечаток на их творчество.

Общие условия существования не давали при этом возможности поэту выработать то цельное и воинствующее миросозерцание, которое сообщило бы его строфам необходимый пафос, полет и размах. Алипанов был обречен на вечную заглушенность самых волнующих и дорогих для него тем, на неизбежную двойственность своих вдохновений, на тягостный внутренний разлад, приводивший его к робким выражениям и даже нередко фальшивым звукам там, где оплоб бы при других условиях полногласно выразить всю накипь своих раздумий. Два проклятых дара судьбы — «жажда свободы и доля раба» — вызвали в нем неизбежный внутренний конфликт и снизили его поэтические устремления. Трудно учесть, каких размеров и охватов могла бы достигнуть его несомненная одаренность при иных условиях, когда трагический внутренний вывих социального происхождения не осложнился бы огромным, трудным и злобным художественным кризисом, мощно разделившим на две эпохи историю русской поэзии.

И, тем не менее, Алипанов сумел проявить себя и сохраняет для нас значение несомненного предтечи последующей рабоче-крестьянской лирики. Целый ряд излюбленных тем, мотивов и образов этой поэтической полесы уже отчетливо намечен в его баснях, сатирах и элегиях. Его идиллии с их радостным описанием крестьянских празднеств определенно предвосхищают господствующие темы Кольцова, у которого подучили также углубленное развитие мирные картины крестьянского труда, зачерченные калужским крепостным. Его сатиры на темную силу кулачества, мироедства, чиновного или купеческого хищничества, систематически погружающего крестьянство в беспросветную нищету, как бы возвещают любимые темы Никитина. И, наконец, жалобы на тягость рабского труда в невыносимых условиях социального неравенства, глухо, но явственно звучащие в строфах Алипанова, разрослись в могучую революционную лирику другого знаменитого поэта из крепостных — Тараса Шевченко, уже вернувшегося во всю ее жугкую ширь вековую трагедию народного рабства.

Мы отметили выше, какие невидимые нити тянутся от забытых страпц Алипанова к современным пролетарским поэтам, слагающим свои песни «в эдском пеще, в тучах пыли, под напев стекла и стали»...

Вспомним же облик этого забытого поэта, который так грустно прошел по жизни и, с такой безнадежностью встречал свой закат и так безвестно исчез из кругозора современников, из литературных преданий и памяти новых поколений. Если скромное наследие его и не ждет шумной славы и посмертного возвеличения, оно, во всяком случае, заслуживает в наши дни справедливой оценки и благодарного признания.

ЛЕОНИД ГРОССМАН.

## Право и диктатура пролетариата \*).

**И**ностранная критика довольно часто проявляет ироническое отношение к советскому праву. Обычны упреки в незавершенности кодексов, противоречивости и чрезмерной суровости норм. Советские юристы отражают эти нападки разоблачением буржуазно-юридических иллюзий и отмечают непонимание критиками классовой пролетарской природы советского права. В данном разрезе особенно часто сталкивались противоположные точки зрения на уголовный кодекс. Между тем, существо вопроса лежит в иной плоскости. Различны самые подходы к праву. Для буржуазного юриста оно является в своих глубочайших основах культурной ценностью первостепенного значения. Советский юрист рассматривает его только, как временно терпимое зло. В самом деле, если право есть продукт классового общества, то, очевидно, в обществе внеклассовом оно обречено на исчезновение. Под знаком начинающегося увядания права стоит и переходный период. На меже буржуазного и социалистического строя право утрачивает добрую часть своего бывшего очарования. Можно сказать, что оно утрачивает даже больше, чем следует, ибо слишком стремительные натуры простирают свои порывы до полного отрицания права. Одному из виднейших советских юристов пришлось затратить немало усилий для доказательства революционной роли правовых норм. Некоторые авторы сожалели даже о трудностях, связанных с заменой слова «право» другим словом, которое не содержало бы никаких намеков на «справедливость». Лозунг революционной законности, одно время весьма популярный в нашей литературе, постепенно стал исчезать не только со страниц общей печати, но как будто и из сознания судебных деятелей. Он уступил свое место другому лозунгу, тоже яркому и выразительному, а именно—классовой политике суда.

Все эти умонастроения, разумеется, не случайны. В условиях пролетарской *диктатуры*, то-есть власти, не связанной законами и опирающейся на вооруженное насилие (Ленин), нет благоприятной атмосферы для права. И все-таки, поскольку переходный период характеризуется продолжающимся (хотя и на новых началах) сожигательством разных классов, право, *именно как право*, как типический продукт классовой борьбы хотя бы и в новых формах, должно существовать и фактически существует. Можно, разумеется, по-

---

\*). Не разделяя отдельных положений автора, редакция печатает статью г. Ильинского в виду затронутых в ней важных и злободневных вопросов.

разному оценивать удельный вес собственноческих слоев населения в Советском Союзе. Можно говорить о том, что буржуазия придушена, и что ее влияние на судьбы страны доведено до минимума. Все споры этого рода относятся до внутреннего положения Советского Союза. За его рубежом царствует капиталистический строй. Долго ли будет он царствовать, мы в точности не знаем. Полоса революций и гражданских войн только что началась. Десятилетие для истории только час и, значит, два десятилетия—два часа. Со своими близкими и далекими современниками Советский Союз связан сложными хозяйственно-политическими отношениями. Завоеванное им *jus commercii* (право торговли) разрастается на наших глазах. Входя в международный оборот, советские республики неизбежно усваивают в той или иной (нередко очень большой) степени начала буржуазного международного права. При этом дело не ограничивается одними внешними сношениями. Торговое представительство СССР, представляющее иск в английском суде на основании английских законов, действует весьма обособленно от внутреннего советского правопорядка. Иначе обстоит дело с иностранными фирмами, получившими концессию на советской территории. При обсуждении вытекающих из концессионного договора вопросов иностранные контрагенты требуют, разумеется, солидных гарантий беспристрастного и юридически правильного разрешения споров. Наиболее недоверчивые оговаривают передачу спорных вопросов на разрешение третьей стороны. Но есть немало и таких, которые согласны довериться советским судам. Такова довольно крупная концессия «Торговый дом Бринкер и К<sup>о</sup>» на разработку серебро-цинково-свинцовых, медных и других руд в месторождении Тетюхе. Концессионер получил 1.380 десятин отводов и 530 десятин земельных угодий. Он обязался соорудить свинцово-плавильный с выделением серебра завод, производительной способностью не ниже 3.000 тонн металлического свинца и 6.000 килограмм серебра в год. Сооружение и эксплуатация такого завода требуют, разумеется, значительных затрат и сопряжены с большим коммерческим риском. Тем не менее, концессионер обязался в случае спора подчиниться решению советского суда. Вряд ли кто станет утверждать, что «Торговый дом Бринкер и К<sup>о</sup>» руководствовался при этом уважением к диктатуре пролетариата. Капиталист блюдет свою выгоду и, доверяясь советскому правосудию, он, конечно, дал себе труд основательно ознакомиться с началами этого правосудия, а также с органами и порядком его применения. Если, несмотря на то, он все же заключил концессию, то, очевидно, нашел в действующем советском праве достаточное количество близких и понятных ему норм. Этот и подобные случаи могут служить отличным пробным камнем при исследовании того буржуазно-пролетарского суда, каким является по существу советский правопорядок.

Впрочем, о неприкосновенности капиталистического строя на Западе можно говорить в смысле лишь весьма и весьма относительном. Те формы, которые приняла в настоящее время концентрация капитала, формы огромных трестов, синдикатов, концернов, акционерных компаний и т. п., дают, пожалуй, лучшую подготовку для социалистического переворота, нежели более элементарные формы, рисовавшиеся воображению Маркса 80 лет тому назад. Благодаря этим организациям, меняется вся оболочка капиталистического общества. Частная собственность растворяется в собственности более или менее общественной. Председатель крупного капиталистического объединения выступает

уже в роли не столько «хозяина» или самовластного предпринимателя, сколько в качестве директора-распорядителя, главы коллектива, но не исчерпывающего воплощения его <sup>1)</sup>. Чуткий наблюдатель живо улавливает этот новый момент в развитии хозяйственного строения общества. В своей любопытной работе «Современный хозяйственный деятель» германский ученый Мичерлих дает несколько упрощенную, но не лишнюю интереса, схему положения хозяйствующей личности в разные периоды истории. Феодализм характеризуется личностью, связанной по рукам и ногам уставом цеха, гильдии или иной корпорации. Буржуазная эпоха в свою классическую пору дает индивида, совершенно свободного, отрешившегося от всех государственных и общественных уз. Современность порождает новую свободно-связанную личность. В настоящее время, пишет Мичерлих, эгоизм, как двигатель экономической жизни, сильно ограничен естественным ходом вещей. Осуществление эгоистических стремлений постепенно переносится с личности на группу. Социальная масса не может рассматриваться, как состоящая из людских атомов; личность особенно плотно входит в группу, как бы внедряется в нее <sup>2)</sup>.

Изменившееся положение личности в процессе хозяйства должно, очевидно, повлечь, и фактически влечет, соответственные изменения в правовой надстройке. Преуменьшать смысл этих изменений, как то делают некоторые советские юристы, представляется неправильным. Правда, строение нашей промышленности сильно отличается от западной ярким преобладанием коллективистических начал в промышленности. На их укрепление брошена вся мощь пролетарского государства с диктаторским аппаратом власти. Следует, однако, остерегаться зрительного обмана, слишком часто поражающего городской глаз, и упускать из виду 95% мелко-собственнического сельского хозяйства с его подавляющим производственным и потребительским значением в экономике страны. В литературе довольно прочно установилось представление о напе, как о компромиссе социалистической власти с мелкобуржуазной крестьянской стихией. Дело, однако, не только в компромиссе. Нап выдвинул на первый план находившиеся до него в пренебрежении стороны хозяйственной деятельности, и прежде всего торговлю.

Производственные условия эпохи военного коммунизма представлялись мало благоприятными для развития торгового оборота. Товаров было в обрез. Каждый производитель выступал в качестве почти монополиста. Государственное запрещение торговли вполне отвечало низкому уровню промышленности и сельского хозяйства. Здесь нет надобности исследовать, не явилось ли это запрещение одною из причин упадка народного хозяйства. Для наших целей достаточно установить, что центром внимания правящего класса и его партии служила именно промышленность, и притом по преимуществу крупная про-

<sup>1)</sup> Исключение—грандиозное производство автомобилей Форда в Детройте (Северная Америка). Вряд ли можно, однако, сомневаться, что это предприятие обязано своими особенностями сильной воле и исключительным организаторским дарованиям владельца фирмы. По своей независимости производство Форда является белым на глазу у американских банков. И если приемники Форда не унаследуют его дарований, знаменитая фирма, по всей вероятности, сольется с общим хозяйственным фоном капиталистической Америки.

<sup>2)</sup> Mitscherlich. Der moderne Wirtschaftsmensch. Weltwirtschaftliches Archiv, 1 B. S. 46.

мышленность. Казалось, что ее размеры, организация и техника наилучшим образом приспособлены для нужд планового строительства. Машинная техника незаметно переходила в социальную технику. Народное хозяйство, а по его стопам и вся культура страны, построились на началах иерархии, административного подчинения. Главки руководили производством, они же распределяли продукцию. Система нарядов заходила так далеко, что для отпуска 1.000 пудов сена в Самаре требовалось разрешение Наркомпрода из Москвы. Требуемое учреждение являлось винтиком в механизме. Хозяйственной самостоятельности оно не имело и, следовательно, никак не могло заявлять «правового притязания» на потребное ему имущество. Оно могло лишь докладывать высшему органу о своих нуждах с точки зрения целесообразности, и высший орган решал, подлежат ли эти нужды удовлетворению. Нередко удовлетворение оказывалось невозможным за отсутствием требуемых материалов. Тогда от РКИ зависело разрешить приобретение товара на полулегально существовавшем вольном рынке.

Приведенное описание дает упрощенную, но правильную в общем, схему организации народного хозяйства в 1919—20 годах. Планы оставались, как известно, на бумаге. Стройные колонны цифр выводились с потолка, но вера в то и другое сохраняла свою непоколебимость. К 1921 году положение коренным образом изменилось. Последующие годы вместе с ростом промышленности принесли огромное развитие торговли. Эта перемена получила юридически законченное выражение в 1924 году, когда был учрежден даже особый Комиссариат Внутренней Торговли. Кооперация из подсобного при Наркомпроде органа превратилась в огромный, широко охвативший хозяйство страны, аппарат. Насборот, прежний ее господин и повелитель умер естественной смертью, оставив своими наследниками такие мощные торговые организации, как Хлебопродукт, Мясохладобойня и другие. Воскресли биржи и ярмарки, на которых различные хозяйственные организации встречались, *как равные*. Здесь случалось, что какой-нибудь вятский губсоюз отказывался продать валеную обувь своему центру—Центросоюзу—по предлагаемой последним цене, а смоленский совет народного хозяйства не соглашался на заключение сделки с центральным торговым отделом ВСНХ. На рынке вступили в сношения между собой разного рода частные и государственные хозяйственные единицы в качестве равноправных товародержателей. Начало планирующей целесообразности столкнулось с законами рыночной стихии и вынуждено было уступить ей часть своих позиций. Эти позиции государство могло отвоевывать впоследствии лишь путем долгой и трудной борьбы.

Новый путь дал верховным хозяйственным органам ту силу и опыт, которых они не имели в начале своей деятельности. Но возрождение равных товародержателей отличилось в характерные для этого рода общественных отношений юридические формы. Первою из них является, конечно, гражданское право с его резко выраженной потребностью в устойчивости оборота. Для товародержателя и вообще для держателя хозяйственных благ очерчивается известный круг прав и обязанностей, в пределах которого он может осуществлять свой личный, «суб'ективный», интерес. Нет нужды, что государство помогает при этом социально об'ективным целям, например, развития производительных сил и т. п. Держатель блага мыслит свой интерес, как свое «суб'ективное право». За охраной этого права он в случае надобности обращается в суд. На суде

частное лицо и государство в лице соответствующего органа встречаются и ведут спор, как равноправные стороны, как субъекты права. Суд руководствуется *прежде всего* началом законности. Начало целесообразности стоит на втором плане. Отступать ради него от закона суд не может. Правда, самый советский закон имеет некоторые отличительные черты, обеспечивающие суду достаточную свободу в применении начала революционной *целесообразности*. Карательная деятельность государства вводится в рамки. Уголовное право вместо нескольких декларативных принципов развертывается в целую и весьма сложную систему наказаний. Наказания эти могут быть назначаемы и применяются в порядке, определенном законом. Соблюдение процессуальных порядков имеет основную целью создание наилучших условий к раскрытию истины на суде. Но попутно ими охраняются и «субъективные права» подсудимого.

Перемены в социальном строе страны сказываются, однако, не только в правах частных лиц. Вопреки вульгарному представлению о нем, его основной (для городской экономики) чертой является отнюдь не свобода торговли, которой жесткая нелоговая политика кладет непреходимую границу. Для истории экономического строительства Советов гораздо значительнее хозяйственная автономия торгвых и промышленных предприятий государства<sup>1)</sup>. Поскольку имущественные споры между ними разрешаются в судебном порядке, иерархическая система *управления* народным хозяйством сводится на систему эластического планирования и регулирования. Опасение чрезмерно усилить чисто правовые моменты в спорах государственных учреждений вызывает к жизни арбитражные комиссии, — своеобразные коммерческие суды Советов. Предполагалось, что эти органы смогут наилучшим образом сочетать начала законности и целесообразности. Однако, круги Наркомюста склонны упрекать арбитражные комиссии в чрезмерном предпочтении первого из двух начал. Если это так, то, очевидно, не какие-нибудь случайные причины тому виною. Суть дела скорее всего лежит в *целесообразности законности* или в том, что развитие производительных сил переходного периода наиболее успешно протекает в правовой оболочке.

Если бы наше время не было переходным, возможно, что разрастание правовой оболочки привело бы нас к формам так называемого правового государ-

1) Значение хозяйственной автономии советских предприятий превосходно подчеркнуто в речи А. И. Рыкова на VI всероссийском съезде профсоюзов: «Неправильны и жалобы на конкуренцию. Один из ораторов жаловался, что конкурируют между собой и Урал, и Югосталь, и т. д. Очень хорошо, что конкурируют. Это не вредно и с точки зрения новой экономической политики, снижения цен, и с точки зрения рабочих и потребителя. Ничего плохого в конкуренции, особенно в момент товарного голода, нет. Люди конкурируют на хорошем деле и борются между собой. Посмотрим, кто из них выиграет. Одно из положительных качеств новой экономической политики и заключается в том, чтобы в условиях рынка и при экзамене рынка, при условии конкуренции, нашу работу испытать. Я боюсь, что мы слишком часто многих спасаем. Когда мы вводили новую экономическую политику, мы вводили ее в расчете на то, что рынок произведет отбор лучших наших предприятий, при этом неизбежно, что кое-кто в трубу вылетит, а у многих наших работников такое сознание, что обязательно спасут, до банкротства не допустят. Мы страдаем не от большого количества конкуренции, а от недостатка конкуренции в нашей государственной промышленности».

ства, составляющего предмет чашки и воздыханий буржуазных юристов. Но мы живем в эпоху революции и жесточайшей классовой борьбы. Война вообще, гражданская война в особенности, не может протекать в рамках формальной законности. Более того, *самая законность рассматривается, как одно из средств борьбы*. О верховенстве парящего над классами права говорить не приходится. Наоборот, можно с резкой определенностью указывать на подчиненность права целям господствующего класса. В этом смысле диктатуры, как власти, не ограниченной законами. Диктатура открыто заявляет, что *salus revolutionis suprema lex est* (благо революции—высший закон). Она отбрасывает всякие призывы к общечеловеческой справедливости, уничтожает полностью демократическую фразеологию, упраздняет формальные «свободы». В своей практике диктатура руководствуется соображениями целесообразности и в зависимости от них определяет свою политику права. «Твердость правопорядка», «устойчивость оборота»—все это с точки зрения диктатуры блага весьма относительные. Она каждую минуту готова пожертвовать ими ради благ, которые представляются ей более существенными. При этом, разумеется, неизбежны ошибки. Но с ними мирятся, как с неизбежностью.

Диктатура есть власть, не ограниченная законами, исключая законов природы. Они ограничивают любую диктатуру, ибо действуют, как правила всеобщие и необходимые. Под законами природы следует разуметь законы всякой природы—неорганической и органической, в том числе и законы человеческого общества. Эти последние находят свое конкретное выражение в исторических фактах вообще, в соотношениях социальных сил в частности. Ими в последнем счете определяется каждый общественный строй, и диктатура не составляет исключения. Закон всякого классового общества—наличие в нем идеологий. Классовое общество, возглавляемое пролетариатом, может меньше других страдать от этой болезни, но избавиться от нее совершенно оно не в состоянии. Поскольку в классовом обществе идет непрекращающаяся, пусть глухая, борьба, поскольку, далее, одних средств насилия недостаточно для введения этой борьбы в формы, обеспечивающие хотя бы внешний мир, постольку нарождается необходимость в идеологии справедливости, как общей почвы для разрешения спора. Диктатура, как власть, опирающаяся на вооруженное насилие, может сузить круг ведения справедливости или права, но не может свести его совершенно на-нет.

Существование классов в переходную к социализму эпоху обуславливает существование в эту эпоху права. Диктатура пролетариата от чрезвычайности, ударности и т. п. пришла к правовым формам социалистического существа не потому, что этого хотели партийные юристы, а потому, что такова была логика вещей, иначе говоря, естественная законность. Можно тысячу раз говорить, что наше право есть система социально-технических норм, или придумывать другие столь же благозвучные формулы. Можно даже, как предлагает А. Г. Гойхбарг, заняться изысканием какого-нибудь иного термина вместо «право». Все это доставит некоторое утешение любителям советской словесности, как в свое время некоторым славянофилам доставляло немалую утеху называть галоши мокроступами, а бильярдный кий шарошхом. На деле мы все время издаем законы, вырабатываем кодексы, уставы, подожнения. Юридические издательства выпускают к ним об'емистые комментарии. Толкование той или иной статьи закона возбуждает горячие споры среди теоретиков

и практиков. Верховный суд и высшая арбитражная комиссия нередко создают в своих разъяснениях целые учения о некоторых основных юридических понятиях (соучастие, хозяйственное назначение, пределы кассационного рассмотрения и т. д.). Научные труды, выходящие из-под пера советских юристов, посвящены догматике действующего права не менее, если не более, чем его политике и социологии.

Другой вопрос, долго ли будет длиться такое положение. Если до сих пор мы делали ударения на том, что у нас существует *право*, то теперь подчеркнем, что это право *переходного* времени. Потребность в праве, как указывалось выше, возникает из наличия спора. Общий уклад данной правовой системы определяется причинами, лежащими в классовом споре, иными словами, в столкновении классовых интересов. Так, наше трудовое право в целом есть продукт политического господства пролетариата. Им разрешается общий спор между нанимателями и продавцами рабочей силы. Однако, в среде последних может возникнуть спор по вопросу, например, об очередности использования отпусков. В предвидении этой возможности закон устанавливает порядок разрешения таких споров (Кодекс законов о труде, ст. 118). Точно также статьи Гражданского Кодекса, относящиеся до займа, регулируют в равной мере отношения между представителями как разной классовой принадлежности, так и внутри одного и того же класса (Гр. Код., ст. 208—218). Мыслимо положение, при котором буржуазия в нашей стране отсутствует, а целый ряд институтов гражданского права сохраняется. Цифры городской торговли показывают, что в крупных центрах большинство сделок купли-продажи падает на сделки покупателей с государственными и кооперативными учреждениями. Такой состав контрагентов ничего не меняет, однако, в юридической природе самой сделки. Большая часть споров по трудовому праву приходится на отношения, в которых нанимателями выступают государственные и общественные организации. И, однако, нельзя пожаловаться на отсутствие споров о трудовом праве. Особые сессии по трудовым делам являются одним из наиболее загруженных судебных учреждений. Статистика уголовных дел, возбуждаемых в порядке частного обвинения, свидетельствует о том, что этого рода споры в громадном большинстве случаев вытекают из отношений между членами одного и того же класса, поддерживающими между собою постоянные тесные отношения по служебным, жилищным или иным условиям.<sup>4</sup>

Таким образом, ясно, что право может существовать и в том обществе, в котором классовые различия сгладились, лишь бы экономика этого общества давала почву для возникновения между его членами споров и прежде всего споров имущественных. Если количество производимых в данном обществе благ не достаточно велико, чтобы с избытком покрыть все потребности его членов, остается почва для споров, и следовательно, для правового нормирования. Если недостаток будет ощущаться в каком-нибудь одном виде благ, например, в жилищах, то и разовьется только соответствующая отрасль законодательства, жилищное право. Простецкая философия может истощать все свое содержание в разговорах на тему об исчезновении права тотчас вслед за уничтожением классов. При этом упускается из виду лишь такая мелочь, как развитие производительных сил. Бесклассовое общество, в котором производительные силы не обогнали еще достижений капиталистической техники, отнюдь еще не является законченным. С другой стороны, колоссальное развитие произво-

дательных сил в обществе с отмершими или отмирающими классами влечет за собою двойного рода последствия.

Первое—прямое: развитие промышленности и сельского хозяйства на рациональных началах прилаживает к себе весь уклад общественной жизни. Это значит—здоровое жилище, сытная пища и все завоевания гигиены для производителя. Это значит, далее, использование всех открываемых наукой и техникой возможностей для упорядочения социальной жизни. Второе последствие—косвенное: производится сверхдостаточно. Потребности членов общества даже в предметах третьей, четвертой и пятой необходимости покрываются с избытком. Следовательно, нечего делить и не из-за чего спорить. Право отмирает естественным путем. Нормы распределения и обмена получают значение чисто технических указаний. Вместо гражданского права—бухгалтерия. Вместо государственного—научная организация управления. Уголовное право сойдет на-нет. Его заменят, вероятно, правила общественного приличия и, может быть, на первое время также разного рода дисциплинарные уставы. Тогда, и только тогда, можно будет говорить о целевых, инструментальных, технических и прочих пормах общественной жизни.

Само собою разумеется, такое состояние достигается не вдруг, не в результате революционного упразднения права. Здесь должен развернуться длительный диалектический процесс. Параллельно росту производительных сил, с одной стороны, сознательности и организованности правящего класса—с другой, будет протекать процесс преобразования юридических норм в технические. Границы ведения права будут постепенно суживаться. Жилищное право отомрет, когда будет достаточно жилищ. Сначала отомрет, вероятно, вся сложная сеть правил, накопившихся вокруг знаменитой жилищно-санитарной нормы в 16 кв. грш. Затем сойдут на-нет правила о выселениях и переселениях, а затем и все остальное. Компетенция трудового права тоже будет уменьшаться постепенно с ростом механизации промышленности.

Таким образом, границы права исторически подвижны. В настоящем очерке они очерчиваются по наличию на переживаемое время. Не надо думать, однако, что в будущем границы эти будут *только* сокращаться. Прогресс—не прямая, а зигзагообразная линия. Можно, стало быть, ожидать в иные периоды и расширения подведомственных праву территорий. Это не меняет общего хода исторического развития, но предостерегает нас от скороспелых заключений по поводу близкой смерти права. Его «революционная роль» только что началась. Она имеет перед собою большое будущее.

И. ИЛЬИНСКИЙ.

# По Советской земле.

## Приволжский край.

### Деревня Овсянкина.

*Ванька. В науку. Омоложение деревни. Смьчка. Болзисы бабы. «А у меня вырывают». Заволжские старцы. Мужиковское искусство. С балкона. Евгеника. Бывшая аристократка.*

Из Мисскова я пошагал дальше. Белоголовый карагуз, раскачиваясь на качели, картаво запел мне вслед:

«Ах, дяденька с котомочкой,  
Идешь-то ты куда,  
Не встретишь ли миленочку—  
Покличь ее сюда!..»

Дорога, миновав богатую староверческую деревню Жарки, бежала дугами, перебросилась через реку Кострому и направилась вдоль ее течения. На крутом чистом берегу, за рекою, белели многочисленные палатки, выстроившись в ряд, как холщевая деревня. Это дальние крестьяне выбрались недели на две косить луга.

Трудовой день ушел, был тихий вечерний час. Клубились сизые кивера дымков—табор готовил ужин. По откосу спускался к воде голый мальчишка; он вел на водопой лошадь. Женщины деловито сновали от костров к палаткам. Где-то лениво пиликала гармошка. Вот поужинают, и она пошире откроет свой голосистый рот. Девы сбрасывали с себя одежду и с визгом бросались в воду. Вода пенилась и бурлила под их русалочьей игрой. Звонкие девьи голоса и хохот неслись табунами к задремавшим под зарей лесам.

Еще версты две-три, и дорога спускается к реке. За рекой, на желтом заревом небе темным силуэтом мрачно отпечаталось село Исады. Зыбь реки в потухающих мягких блестках.

— Эй, лодку давай!—громко кричит мой попутчик, кудластый мужичок.

Меж крутоярых берегов перебрасывается эхо. И, чуть помедля, звонкий детский голосок из-за реки:

— А деньги есть?..

— Давай, давай... Получишь... Припасли для тебя... Как же! Я вглядываюсь в вечерний сумрак. За рекой в белой рубахе парнишка.

— Много вас, жуликов, шляется!—кричит он.—Проваливай... И еще голос, потолще:

— Не ездий, не ездий, Ванька!.. Надують...

— Давай, давай!—кричим мы оба.—Нам на пароход!

Мальчишка хохочет и отвечает:

— Плывите так! Тут не глыблю... А деньги есть? По пятяку с бо-  
роды.

— Есть!

— А ну, покажи!

— Не ездий, Ваньки! Вруть...

Но Ванька смиловался, весла его скрипят, как коростель в болоте, и плещут по воде. Подплыл:

— Давай деньги вперед,—заявляет он.

— А взад не хочешь?—и дядя, проворно выпрыгнув в лодку, вы-  
рвал у Ваньки весло.

Мы засюльзили поперек реки. Щупленький Ванька хотел запла-  
кать, не вышло, засверкал глазами и угрозился:

— Жулики!.. Я вас, жулики, на середине утоплю...

— Я те утоплю, космопол проклятый,—подавал веслами мужик.

Мальчишка, как кошка, фыркнул и сгреб мужика за шиворот:

— Ты лаяться?! А в исполком хошь?.. Не сиживал в чижовке?..

Чтобы пиянеров материть!.. А?!.

С берега же, сквозь озорство и хохот, дегело:

— Ванька, топи их!.. Чего глядишь...

Лодка пристала к берегу. Я дал Ваньке двугривенный, и мы рас-  
стались друзьями.

— Спасибо, дяденька... Дай бог здоровья, дяденька... Вишь,  
огонек мигает? Шагай прямо. Там и пристань...

— Вот мы и в Ярославской губернии очутились,—сказал мужик.—  
Были в Костромской, а здесь Ярославская углом приткнулась. До сви-  
даньца! Счастливый путь.

Пароход пронес нас ночью вверх по Костроме-реке. Ранним утром,  
когда косцы возвращались на обед—иные уходят на покос с полночи,—  
мы высадились в деревне Овсянкиной Буйского уезда.

\* \* \*

Овсянкина стоит на крутояром правом берегу Костромы-реки.  
Высокий глинистый берег весь в ключах, мокр и вязок. Деревня выхо-  
дит к реке огородами. Минуеть огороды,—на два посада широкая,  
вся в зеленых палисадниках, улица.

Остановились мы у небогатого, но работающего крестьянина. У него  
одна лошадь, две коровы, три овцы и куры с выводком цыплят. А из  
людей—жена и три сына: старший, Александр, готовится к приемному  
экзамену в ленинградский географический институт, средний—учится  
в школе 2-й ступени в городе Буге, третий—маленький озорник.

Мой новый хозяин—Федор Константинович Смирнов—небольшо-  
ного роста, с светлой бородкой, бел лицом, вдумчив и резонен. Он—  
незаурядный тип, в высшей степени общественен по натуре; он горюет  
о русских неудачах, как о своей беде, и радуется каждому светлому  
явлению в новом быте, как празднику. Он понимает, что сила мужика  
в знании. Немного гразотный сам, он, надрываясь, тащит двух сыновей  
своих в люди. Одного провел через среднюю школу, другого проводит  
(в г. Буге, в 25 верстах от Овсянкиной). Сколько раз в зиму, лет пять  
подряд, он отвозил туда продукты, недоедая сам с семьей, и какого  
напряжения потребует от него старший сын, определяющийся в ленин-  
градский вуз. Я уверен, что он продаст все, может, будет сам сидеть  
на сухарях с водой, но своего добьется—детям даст образование, пустит  
их по «культурному цеху». В этом поддерживает хозяйина и его жена,  
простодушная, боязливая тетушка Дарья. Александру тоже нелегко.  
Он недавно был в Костроме, наводил разные справки по учебной части,  
третьего дня—смахал пешком в Буй, чтоб телеграфироваться с Ленин-

градом насчет дня экзаменов, а сегодня—и до самой осени—будет разрываться между книгами и полевой работой. Когда все спят—лампа в его комнатке горит до поздней ночи.

Я прожил у них неделю. Изба небольшая, старая, но чистая. Рядом подведен под драничную крышу, но еще недостроен, крепкий пятистенный дом с мезонином и угловым балконом вроде террасы.

— И когда это вы успеваете, как это хватает у вас рук?—удивляюсь я.

— Плотники делают. В нашем краю плотник недорогой, поголовно плотничают. Ну, и сам старался. Я раньше-то на судах по Волге хаживал, все лишнюю копейку какую добывал... Вот и... Ведь три парня у меня растут...

Из 49 домов в Овсянкиной—10 новых, «с пяты», и 12 перестроенных; да еще кой у кого на задах стоят новые срубы. Я ездивал за последние три—четыре года по Ленинградской, Псковской, Смоленской, Тверской и Костромской губерниям. Везде одно и то же. Крестьяне во время революции нарубили себе «под шумок» изрядное количество барского и казенного лесу, и по всем деревням, где не ленился топор и не дремала воля—зажэлтели, расцвелились новые просторные дома. Без преувеличения можно сказать, что революция значительно омолодила в лесных губерниях деревянную мужичью Русь.

И еще типичная для нашего времени особенность.

Сижу пасмурным днем на балконе, пишу. Но не пишется. А писать надо. Ужасно хочется лениться, забросить бумагу, книги, итти в лес, в поле. Или просто хочется, сидя на балконе, вертеть головой туда-сюда, следить за полетом птиц, за пеньем петуха, за чушкой, которая блаженно хрюкает в грязи, за вечно пьяным, но великолепным, маляром Сусей, которого так прозвали потому, что он к каждой фразе прибавляет: «Сусанин сказал».—идет, кричит, кожаный картуз на левом ухе.

Вдруг... Вот тут-то и начинается новый быт. Вдруг по дороге пробегают крепьш-мальчонка. Он туго бьет пятками в дорогу, машет в проулок шапкой такому же карапузу и, на-бегу, кричит:

— На гигана, Панька!! На гиган!..

За ним другой, еще, еще, и все, запыхавшись, орут:

— На гигана!.. На гигана!..

Опряметью несутся в другой край деревни, в гору, и на горе, вижу,—столб, гигантские шаги.

Дело очень просто. Вернулся с германской войны инвалид, подбил крестьян поставить ребятам на потеху столб, кузнец сковал железины, общество дало веревки, и машина закрутилась. Глядя на эту деревню—и другая, и третья.

Также во многих деревнях—футбол. Эту игру встречал я в разных губерниях. Она, как хорошая эпидемия, заразила всю Россию. Глядеть на такую игру—потеха. Ловкость, юмор, неуклюжесть, азарт, хохот, пыхтенье до десяти потов—все смешалось в кучу. Мячи из тряпок, обшитых бараньей кожей и вместо тупоносых штиблет—бахилы. Иной раз двинет-двинет, а дырлявый саложнице летит вместе с мячом в небеса. Играют в рубахах, а в больших селах в спортивных костюмах, с номерами, холщевых домодельных, или купленных. Редко попадаются парни в трусиках. Но с трусиками еще забавнее. В глухой костромской деревеньке мне рассказывали, как приехал домой из Питера парень фабричный и неожиданно явился в одних трусиках на сенокос. Мужики подняли хохот. А бабы озорную ругань, крик: «голый, голый!».. и граблями прогнали его домой. Пришлось одеться.

— Что же это вы так?—спрашиваю тетку.

— Да ведь, батюшка ты мой, он, охальник, почитай, нагишом пришел. Этакие гультики на нем, верхков пяти, на облезяну надевать... Едва-едва естество прикрыто... Тьфу!..

Но так или этак, естественные образцы «смьчки» города с деревней вылицо.

\* \* \*

Вокруг за деревню. Полянутся ржаные нивы, голубеют васильки. Через версту, направо—крупный сосняк, налево—тенистый запущенный парк с барским домом. Липовые и дубовые столетние аллеи поросли быльем. На пне стоит белая коза, трясет бородой, в тени два поросенка сосут свинью. Захожу в парк. Огромный, облицованный диким камнем, дом, построенный, говорят, по проекту Растрелли. Он внутри выгорел, кажется, в 1919 году, окон нет, на стенах черные следы копоти и дыма. Это имение Ивановское, бывшая собственность предводителя дворянства Маркова. Через дорогу, возле сосновой роши, три небольших здания. Это—принадлежавший тому же владельцу завод соснового экстракта и эфирного соснового масла. Завод основан незадолго до революции; он сулил большую прибыль владельцу, так как фабрики нашли широкое распространение по всей России. Рабочие, машинисты, мастера были местные крестьяне. После революции они завод взяли под себя, дело пошло великолепно, выработали фабрикатов 450 пудов, но в годы военного коммунизма сбыт прекратился, и дело рушилось. В данное же время, чтобы пустить производство в ход, необходим оборотный капитал.

— А дело верное,—говорят крестьяне.—Мы прямо могли бы обогатиться. Рабочие и мастера у нас свои, сосновой хвои, сколько хочешь, и механизм в целости. В 1920 году ездили лично в Москву к председателю химотдела ВСНХ, ничего не вышло.

Мы с хозяином занимались подсчетом, оказалось, чистая прибыль при повышенной оплате труда около 30.000 рублей за пять зимних месяцев (завод работает только зимой).

Огибаю парк и спускаюсь с крутого обрыва на луга. Вся деревня на покосе, ворошат сено, ставят стога. Этот покос—бывший барский. Помещичья земля отошла здесь исключительно крестьянам. Они поделили землю на полосы. Система хозяйства старая—трехполье. Новшества не видно. На хутора не выделяют. Вообще в Костромском и Буйском уездах хуторское хозяйство не в моде.

Возвращаюсь домой. На улице, возле избы, стоит мой спутник, этнограф, зарисовывает красивые старинные наличники и крупно разговаривает со старухой, хозяйкой избы.

— Проходи, родимый, проходи. И без тебя тошно.

— Да я, бабушка, рисунок снимаю.

— Иди, иди!.. Чего ты окошки-то пишешь... Не вижу, что ли, я. Шляются тут, да описывают. А потом налог наложат. Вот иди к Андрею, тот богатый, срисовывай его окошки... Заплатит...

Едва успокоили ее.

Не сразу можно заслужить доверие крестьянина, особенно пугливы женщины. В каждом вопросе городского человека они видят какой-то подвох и заднюю мысль с неперменной целью ущемить их. Да вот хотя бы наша хозяйка, тетя Дарья. Можно выпрашивать про что угодно: про колдунев, про песни, про обычаи, но чуть дело коснулось вопросов, близких современности—сразу—стоп: «Да пошто это тебе нужно знать, да чего ты все выпытываешь? Нет, ты, однако, коммунист. Ишь, ишь, опять в книжку пишешь»...

А, верно, я имею обыкновение заносить в записную книжку образные выражения, оригинальную структуру живой фразы. Иной раз такое словечко вскочит в уши—грех не записать.

Как-то сидим за чаем. Дарья чинит рубаху. Хозяин говорит:

— Неправильного много еще у нас. Да вот такой пример...

— А ты молчи,—перебивает его Дарья.

— Вот, скажем, я держу двух коров. А сосед—одну. Достатки у нас разные и земли по одинаковому наделу. Я принужден двух коров кормить сотовой, да и то сапоги или другую ценность продай. А сосед одну корову кормит сенем. Мои две коровы дают столько же молока, сколько его одна. А налог я плачу за две коровы, на семь пудов больше.

Это против совести и против закона. Я стараюсь саватиться за хозяйство обеих руками, у меня вырывают.

— Полно-ко ты, полно!—кричит Дарья, перегрызая нитку.—Вот тебя продишут, дурака, так будешь знать...

— А что ж такое,—возражает хозяйин.—Я даже сам хотел по этому поводу писать. Не засадят же меня в тюрьму за правду... Или вот еще такой пример...

— Замолчишь ли ты, нет ли?! Вот схвачу за бороду да и выволочу в сенцы!..

Хозяин, взглянув на нее, раздражается хохотом, мы все подхватываем, смеется и сама тетка Дарья.

— Слушай-ка, что я тебе скажу,—политично переводит она разговор на другие рельсы.—Вот у нас еще какой обычай живет: перед тем как в новую избу перебираться, накануне сажают туда на ночь двух хозяев: петуха да кошку. А когда жениха да невесту везут под венец, втыкают им в одежду две иголки-прорвы крест-накрест, чтобы колдун не испортил.

Она знает много интересных случаев из прошлой и современной жизни. Рассказывала нам про юродивого Вавилушку, бывшего типографского рабочего, который лет двадцать тому назад явился к ним и стал юродствовать: возил на себе пудов 10 камней, носил под рубахой «железца», предсказывал, кому смерть, кому замуж выйти, им предсказал два пожара. Он помер незадолго до революции.

А вот современный старец—Асаф. Он—иеромонах Железоборского монастыря, верстах в двадцати от Овсянкиной, человек средних лет, высокий, болезненный и постник. За «пощением» ходили к нему, главным образом, девицы и молодые бабы (у мужчин он был не в почете). Одна девица, его поклонница, даже впала в летаргический сон, длившийся три недели и начала изрекать пророчества. Поспит-поспит, проснется, изречет и опять уснет. Впоследствии обнаружилось, что девица притворялась, деятельность старца средних лет была признана вредной, и иеромонах Асаф, после суда над ним, оказался в Соловках.

Еще про матушку Веру или просто Верушку, тоже нашу современницу, монахиню недалекого монастыря. Она пользовалась исключительным уважением среди всех местных крестьян и городского населения Буя и Галича. «А лицом-то она белая, а ростом невеличка, а глазыньки прямо как у орлицы у какой». Она неизвестно откуда пришла в монастырь, жила в шалаше, монашествовала лет пятнадцать и тоже стала пророчествовать. Зимой и летом ходила босиком «в одной белой ряске, в белом апостольничке»; видимо, застудила ноги, и, когда ее, арестованную, везли на пароходе в Кострому, она уже не могла ходить. Деятельность Верушки тоже была признана вредной, и монахиню выслали на юг, на родину.

Отношение крестьян к ней, а отчасти и к старцу Асафу, свидетельствует о том, что мистическое настроение в деревенской Руси, главным образом, среди баб и стариков, далеко не умерло, и что деревенская Русь, изверившись в священниках и наполовину отторгнувшись от церкви, ищет живой воды у старцев, старц и юродивых.

Деревня настроена мистически, но уже и тут виден прогресс. Я как-то спросил тетку Дарью,—полна изба была гостей,—есть ли у них колдуны?

— Слава богу, теперича не стало,—сказала она.—А вот ведьмы есть.

Оказывается, ведьмы делают на Иванов день «пережин»—идут ночью на голове вверх ногами и выжинают вроде узенькой тропочки все хлебное поле крест-накрест. Зерно берут к себе. И чья рожь попала к ней, зерно будет течь из крестьянских амбаров ведьме в закрома. Парни выходят ночью караулить—в третьем годе выходили. Ружья заряжают не свинцовой пулей,—она ведьму не берет,—а горохом или медью (пуговкой).

Комсомолец в деревне, кажется, нет. Коммунистов тоже. Избы-читальни нет. Газеты не выписываются. «Хорошие дороги, а худых не стоит».

— Да и читать-то мы, по правде сказать, не приобькли.

Спрашиваю хозяина:

— Почему вы в партию не запишетесь?

— Не справится,—ответил он.—Я на этот счет строг. Я и от попа гребую, чтоб на деле показывал, как надо жить, а не на словах. Так и от коммуниста: раз проповедуешь равенство и братство, так и живи. Иначе один обман и распутство.

\* \* \*

Иду вдоль деревни. Иду не спеша, останавливаясь почти перед каждой избой, чтобы полюбоваться кружевом наличников, украшающих оконные проемы. Это творчество плотников и маляров села Павловского и других деревень Буйского уезда.

Есть избы или, вернее, просторные дома, изукрашенные пышной сквозной резьбой по карнизам, пилястрам, фронтому, слуховым окнам и наличникам, с затейливыми «мизинетами» (мезонины). Вся резьба в большинстве случаев разракована в яркие тона: красный, синий, зеленый, белый и желтый. В резном искусстве мы видим и своеобразно воспринятый кудрявый стиль «Барокко» и стиль «Возрождения» с урнами, цветами и кедровыми шишками. Но кроме заимствованной орнаментации (вероятно, с помещичьих и столичных домов) весьма часто встречаются и чисто русские мотивы: кружевные подзоры, полотенца, балюстрады, петухи. Композиция рисунка и раскраска выдержаны очень искусно, с незаурядным художественным чутьем и вкусом. Недаром костромские плотники в свое время выписывались в Париж для участия в постройке павильонов Всемирной выставки, и их искусство расценивалось там в художественном отношении очень высоко.

Я прошел и проехал несколько костромских деревень и ни разу не встретил повторяющихся мотивов орнаментации. Едешь, и с изумлением смотришь на мелькающую смену украшений, и иной раз не можешь оторваться. Буйская школа 2-й ступени предприняла летом 1923 года экскурсию по деревням с целью зарисовки резных украшений. Не мешало бы и некоторым нашим художникам об'ехать Костромской край: жатва была бы обильной.

— Вот там, за рекой, есть сопка, есть сопка. Она называется Сопливая горка. Знаете, почему?—спрашивает меня хозяин.

— Почему?

— А из с. Павловского, верст 15 отсюда, идут с первой недели великого поста в Питер или в другие местности плотники, как раз мимо нашей деревни. Бабы провожают их. На горке прощаются. Бабы такие слезы распускают, страсть. Вот горка и названа Сопливой. Очень любопытно смотреть со стороны, как они там воют, да с мужьями лижутся. Вот уже совсем попрощались, пошли. «Да стой, да подожди-ка, что скажу!» И опять. Нацеловались на весь год, пошли. «Эй, Максим, соколик!.. Остановись-ка, слышь!».—бежит какая-нибудь Агаха. Уж они шепчутся-шепчутся лоб-в-лоб, когда-то, когда-то разойдутся. А к Петрову дню, в конце июня, снова встречаются на этой самой горке.

— А много на заработки-то уходят?

— Много, что маляров, что плотников, столяров али штукатуров. Страсть сколько из губернии народу уходит. Потому земля у нас неудобная. И все больше в Питер. Редко, редко в Москву которые. По соседним губерниям тоже много уходит. Очень много из нашего края подрядчиков богатейших было. Такие домищи себе сгрохали, в городе не скоро встретишь. Да вот поедете—увидите.

— А теперь?

— Да помаленьку начинается. Конечно, бывшие подрядчики у них за старосту. По образу староста, то-есть старший из артели, а на самом деле такой же подрядчик. Он кормит артель и большие барьши себе берет.

— Почему же артели сами не организуются?

— Да не могут еще. Спецов нет. Организовалась такая артель, пошла в Вологду, едва-едва сыты были, домой ни с чем вернулись. А те, которые с подрядчиком отправились, все-таки деньги принесли. Потому что у подрядчика во всех местах знакомства, старое доверие. Он может и хороший дом на выстройку взять, по любому плану построить. Он своему делу голова. А у артели без коновода—тяп да ляп,—плохо... Конечно, со временем, может быть, и поприобькнут которые из мужиков. А я думаю так: ежели какой крестьянин будет в этом деле большой смысл иметь, обязательно в подрядчика обратится: уж такая природа наша человеческая.

\* \* \*

Сижу на балконе с книгой. Но читать лень. Смотрю на пустынную улицу, не пройдет ли кто. Слышу пьяный голос. Узнаю: сейчас из переулка покажется Суся. Так и есть. Лицо у него медное, подбородок бритый, с ямочкой, мокрые усы книзу.

— А во-о-т... Пойду-у... Так сказал Сусанин. Об'ясню без обид: эй, тетка Матрена, не надо мне твоих денег, не надо твоих харчов, а дай мне две бутылки самогону!.. Так сказал Сусанин... Видала памятник Сусанину в Костроме, а? Сняли Сусанина... А я тебе избу выкрашу ай-люди... И потолок... Две бутылки ссамогону... Не хочешь? К чорр-ту!... Так сказал Сусанин...

Он размахивает руками, пишет по дороге вавилонь. Холщевая беспоясная блуза его вся в олифе и краске. Прошел.

Навстречу ему необычная женская фигура в полосатой голубой юбке, в рваной кацавейке. Голова накрыта низко опущенной на лицо шалью. Щека подвязана белым платком. Лицо видно плохо, но я все-таки вижу странные безумные черты, бегающие испуганные глазки и сильно приплюснутый неблагополучный нос. Следом за нею мальчишки и девочки. Они дразнят ее на разные голоса:

— Барыня курносая!.. Барыня курносая!

Вьются возле нее, дергают то за кацавейку, то за шаль. Она отмахивается, вырывается, что-то гнусит сиплым голосом. Из окна крик: — Я вам, твари!.. Пошто ее обижаюте?!

Ребятишки отстают, косясь на пригрозившего им крестьянина. Курносая барыня проходит.

Гляжу с балкона вниз. У хозяйской избы клуша с многочисленным выводком крупных цыплят. Цыплята страшно дерутся: нос в нос налетают штуки по четыре, и начинается свалка. Из гребней течет ручьями кровь. Выбегает младший хозяйский озорник-сыннишка, начинает разнимать, но это ему не удается: цыплята сбегаются вновь и с необычным остервенением долбят друг другу окровавленные головы... Мальчик берет хворостину, хочет ударить по забиякам и вдруг заливается детским плачем:

— Мамынька, мамынька!.. Пестренькому петушку оба глаза выклевали...

На крик выскакивает мать, ахает, ругается, схватывает безглазого и ссекает ему топором голову.

«Горе слабому», мелькает у меня скорбная мысль, но не хочется додумывать: день солнечный и знойный. Я равнодушно гляжу на переставшего трепыхать казненного цыпленка, на лужу крови, на топор в милостиво-жесточкой руке тетки Дарьи, на ее вопросительно улыбающиеся мне глаза и угадываю, что она хочет мне сказать. Она сказала:

— Вот сварю тебе суп. Желаетшь?

Все так просто: топор, конец никому ненужной жизни, суп. Я хотел многое вспомнить,—но солнце, зной... Я вздохнул и отвернулся.

— Да!—сказала Дарья.—А чего ж ты к нашей барыне-то не сходишь?.. Сходи для интересу. Образованная. Не нашему брату чета. Сходи. А то скучно тебе. Ничего, она разговорчивая, обходительная. Мы с Федором другой раз ходим чай пить к ней. Она нашего Федора уважает.

— Какая барыня? Вот которая сейчас прошла, курносая?

— Нет, что ты!.. Прошла дальняя сродственница ее, больная, полумумная. А та другая...

Я продолжаю сидеть на балконе. Сижу долго, пока не закатилось солнце, пока пастух не прогнал коров. Вот запахло парным молоком. По тропинке под моим балконом идут вереницей девушки и бабы; в их руках ведра с молоком. На поверхности молока густо плавают мухи, как на весеннем снегу грачи.

Спускаюсь на улицу. Возле ближней избы подвода. На телеге огромные сосуды под молоко. На земле весы. Деревня сдает молоко на вес, приемщик записывает в книжки, которые подают ему женщины. Молоко идет на общественную маслодельню в соседнее село. Так несколькими подводами ежедневно об'езжаются окрестные деревни.

Мимо меня обратно проходит группа девушек. Я заговариваю с ними. Они останавливаются. И одна из них, Надя, очень бойко начинает разговор. Ее голос певуч и ласков, милое лицо с голубыми, выразительными глазами улычиво. Она вся не деревенская, от деревни только загар и крепость тела. Она безусловно городская, воспитанная девушка, переряженная крестьянкой. В непринужденной манере держать себя, в говоре и жестах прирожденная грациозность. Все подруги ее рядом с нею только резче подчеркивают непонятный контраст между ними. Нет, конечно же, не здешняя.

— Покойной ночи! Всего вам хорошего,—сказала она на прощанье.

— А вы давно сюда приехали?—крикнул ей вслед.

— Я?—Она засмеялась.—Восемнадцатый год пошел.

И только дома, за чайным столом, тетка Дарья разрешила мое недоумение.

— Надюшка-то? О!.. Совсем даже отменная от наших. А родные сестры ее такие же непропёки, как и прочие девушки. А она, видишь, какая пава родилась. Толкуют хрещеные, что бытто она от барина нашего бывшего. А может и врут, может, бог такой доченькой родителей благословил. Девушка речистая, умная, с ней лестно кому хошь поговорить. Да ежели ее одеть, у-у-у!..—тетка Дарья даже зацурилась.—Одно слово, барское дите.

Я все это отметил себе в книжку и озаглавил: «Евгеника».

\* \* \*

На следующий день я отправился с визитом к бывшей помещице, Александре Павловне Перелешинной, разведенной жене предводителя дворянства Маркова, о котором я упоминал. Она снимала комнату в каменном двухэтажном крестьянском доме, через дом от нас. Я взобрался по лестнице и отворил дверь в ее комнату. Сырость, полумрак, запах мокриц и скипидара. На кровати лежит смуглая, сухая женщина. Голова ее обмотана полотенцем. Возле нее старуха-крестьянка.

— Вам кого?—заохав, спросила женщина.—Александр Павловну? Она на свежем воздухе. Идите через повесть, там ворота увидите. А за воротами веранда у нее.

Женщина болезненно улыбнулась и добавила:

— Я бы провела вас, да ноги отнялись—ревматизм замучил.

Не спускаясь вниз, я повернул в дверь направо, прошел чрез поветь по бревенчатому полу, представляющему потолок над обширным хлевом, и постучал в огромные ворота.

— Можно?

— Пожалуйста! Прошу вас.

Я отворил ворота, и ступил на полусгнивший бревенчатый настил, подпертый на высоте второго этажа столбами. Эта горизонтальная, вроде террасы, площадка, огороженная полусгнившими же перилами, выходит на грязнейший, покрытый навозом, задний двор, куда выливают помон и сваливают всякую дрянь.

— Извините, что здесь вас принимаю,—сказала Александра Павловна.—Хотя воздух здесь, как видите, и не совсем... Но все ж таки лучше, чем у меня в комнате. Садитесь на скамеечку. А я буду ходить... Мне моцион нужен.

— Но почему же вы не выходите на солнышко, в поле, в лес?..

— И рада бы, да не могу. Ноги опухли, сердце большое и одышка. Видите, какая у меня комплексция? Спустись вниз, и не подняться.

Она высокая и необычайно тучная, величественного вида, старуха лет под 65, с дряблым, белым, в красных жилках, лицом. Гордо запрокинутая седая голова ее в темной кружевной наколке, на рыхлых плечах рваная кружевная накидка. Потертая, вдоль и поперек штопаная юбка и трепаные шлепанцы. Но эта ветошь была чиста и опрятна, как и сама старуха с выхоленными маленькими ручками и умными, пристально всматривающимися в вас, глазами.

Она угадывает мою мысль, иронически улыбается и, встряхнув накидкой, говорит:

— Вот... весь мой гардероб. Больше ничего нет. Ну, что ж! Так легче будет умирать и... честнее. Меня судьба очень и очень потрепала. И я не ропшу. Я верю в кару, в возмездие. Каждый человек живет на земле так, как он заслужил в прошлом воплощении. Вы удивлены? Я—теософка. В чтении теософских книг мое утешение. Ну, как там у вас в Москве, в Питере? Как большевики? Я ж совершенно не читаю газет со времени переворота. Что ж, по-вашему, выйдет что-нибудь путное?

Я, как умею, отвечаю.

— Удивляюсь,—говорит она, пожимая плечами.—Ведь вы, я слышала, писатель. Вы коммунист, нет? Но разве не коммунисту можно теперь писать? Разве печатаются книжки? Да неужели?!

Я вынимаю из кармана свою книжонку и подаю ей. Старуха разглядывает ее, как вытасненное со дна моря чудо-юдо, говорит: «удивляюсь» и просит меня прочесть. Я читаю шутейный рассказ. Старуха улыбается, просит прочесть еще и еще. Старуха смеется и весело говорит:

— Удивляюсь!.. Представьте, я даже не воображала, чтоб при существующих условиях можно было что-либо искренне писать.

Она садится против меня на скамейку и задумывается. По выражению ее лица я вижу, что она роется в памяти, подводит какие-то итоги, и что в ее душе происходит борьба.

— Да, верно,—говорит она.—Представьте, ведь меня арестовывали в 19 году и отвозили в Буй. И, представьте, на пароходе, в первом классе, даже горничную разрешили взять. Ну, в городе, правда, было несколько тревожных минут; мы, арестованные, большинство женщины-помещицы, боялись, что будут расстреливать. Меня, по моему нездоровью, допрашивали первую и сразу же освободили. Мне сделалось дурно, а извозчиков не было и, можете себе представить, два милицейских вели меня ночью под руки до самой квартиры. И следовательно тоже очень вежливо был.

Она замолчала, посмотрела в сторону, где Заходило солнце, пожала плечами и сама себе сказала: «Удивляюсь»...

Пока она продолжала удивляться, я припомнил, что слышал про нее от крестьян. Ее считали очень хорошей «барыней», она державо

сдавала им в аренду покосные луга, была «обходительна» и ни в чем не было у нее отказа: «лекарствишка ли дать, али так что присоветывать».

Надо сказать, что крестьяне, поскольку я знаю из своих наблюдений в разных углах России, отзываются о помещиках если не хорошо, то снисходительно. В их словах нередко слышится скрытое сожаление, что из деревни с революцией ушла культурная сила в лице бывших бар. По мнению стариков и крестьян среднего возраста, вместо культурного влияния, которое вносили в деревенскую жизнь некоторые либеральные бары, пока что—круглый нуль. Мне кажется, что этот немалый пробел в духовной жизни деревни должны восполнить агрономы, врачи, учителя и прочая сельская интеллигенция. Необходимо какое-то постоянное воспитательное воздействие на крестьянскую душу, в особенности в наше время великого сдвига всех прежних устоев жизни, когда перед каждым вдумчивым крестьянином повседневно встают сложнейшие вопросы бытия, которые так или иначе надо сейчас же разрешать.

Я не собираюсь оспаривать почтенную роль изб-читален, всяких культурно-увеселительных кружков, я говорю, что деревне необходима просвещенная голова для духовно-воспитательного руководства. И если говорить об идейном «хождении в народ», то наибольшая потребность в нем как раз в наши дни.

— На какие же средства вы существуете?—спрашиваю Александру Павловну.

— А не на какие,—как бы подсмеиваясь над собою, через силу улыбается она.—Много вещей распродала, теперь почти ничего не осталось. Да и продать-то некому. Вот продаю большой текинский ковер, великолепного рисунка, прошу червонец, никто не дает, денег нет в деревне. А мне необходимо к доктору в город съездить.

Действительно, помню, в Мискове, в этом кирпичном полугородском селе, крестьянин недавно говорил:

— Теперича у нас самое «подбшное» время. То-есть такое время подошло, ежели скажут: «ребята, соберите три рубля, а то все село из пушек расшибем», дак не то трех рублей, полтины со всего села не собрать. Вот хмель снимем, тогда другое дело.

— А живу я своими трудами.—говорит Александра Павловна.—Шью девушкам разные изящные вещицы, то накидочку, то лифчик с бантиками, то косыночку свяжешь. А они мне продуктами: молоком, картошкой. Да мне, старухе, много ли и надо-то? Попьешь кофейку с хлебом—и сыт. Если б я одна была—с полгоря. А при мне женщина, бывшая моя горничная, не пожелала меня бросить, а теперь слегла, от сырой квартиры страшный ревматизм схватила. Не хотите ль заглянуть ко мне?

Я опять вошел в ту же самую комнату. Больная, бывшая горничная, все еще лежала и охала. Старуха провела меня за перегородку и усадила за письменный стол.

Облезлые стены, несмотря на лето, в сырых подтеках. В углу дымит раскаряка-буржуйка, на ней синий чайник. Потолок, стены, драпировки, жалкие остатки мягкой мебели, все потемнело от многолетней копоти, и воздух, как в склепе.

— Я удивляюсь, как здесь можно существовать,—на этот разжимаю плечами я.—Почему вы не перемените квартиру, почему не откроете окна?

— Нельзя. Сквозняки. А у меня—больная. Впрочем, будьте добры, откройте. Еще летом туда-сюда, а зимой—мороз, иней на стенах. Боюсь зимы,—она вся сжалась в кресле и глаза ее зябко помутнели.—Боюсь!—Но вдруг она оживилась:

— А желаете взглянуть, какой я была?—и подала с этажерки свой портрет.

На портрете полная, очень красивая, средних лет дама в русском восточном придворной фрейлины, с шитым жемчугом кокошником и «кавалерственной лентой» через плечо,

— Ну, как? Ничего себе бабенка? При Марии Федоровне состоялась. А мой отец, адмирал Перелешин, парскими яхтами командовал. На похоронах государь был и вся петербургская знать. А я вот, видите, в каком положении,—вздыхнула и утерла платком часто замигающие глаза.—Пустяки, хорошо, превосходно,—быстро оправилась она.—Только веры не надо терять. Вот моя вера и надежда,—и старческая, пухлая кисть руки легла на стопку теософских брошюр и книг.—Еще наслаждаюсь Байроном, Гете, Гейне, в подлинниках, конечно. А вслух горничной, приятельнице моей, читаю, знаете кого? Блаватскую. Ах, какой восторг! А вы знаете, что Блаватская вновь воплотилась, и ей уже десять лет от роду? Мне писала одна приятельница из Петербурга со слов «посвященной».

В это время за перегородкой скрипнула дверь и послышался разговор.. Потом надтреснутый голос прокричал:

— Барыня, кухня к тебе пришла!

— Ах, извините,—грузно, с кряхтением поднялась Александра Павловна.—Это дальняя родственница моя, больная... Капли пускаю ей в глаза. Мне очень совестно, что я не предложила вам чаю. Но, к сожалению, я забыла сахару купить... Такая досада... Ну, навещайте меня, старуху. Да! Вот еще что... Мне ужасно хотелось бы работать. посылную пользу приносить... Я еще ничего, бодрая,—она сжала кулаки и выразительно встряхнула ими.—Например, почему бы бывший наш завод не пустить в ход? Вы слышали? Я бы все могла организовать... Впрочем... Эх!..

Я раскланялся и пошел домой. За перегородкой, возле кровати горничной, стояла «курносая барыня». Завидя меня, она тотчас же надвинула на лицо шаль и отвернулась.

# Новости науки и техники.

## Превращение ртути в золото.

Что нового в науке и технике? Прежде всего—новое, сенсационное открытие, которое грозит, в случае своего практического усовершенствования, нанести жестокий удар капитализму, вызвать крах его банков, разрушить весь финансовый и торговый аппарат. Германский ученый Мите получил искусственным путем золото.

Наука девятнадцатого века разделила все тела на сложные и простые—или *элементы*—и торжественно провозгласила перазлагаемость и неизменяемость элементов. Однако, открытие к началу двадцатого века радия и опыты с его изумительными свойствами излучения из себя мельчайших частиц, еще меньших атома, поколебали прежнее учение об элементах и атомах и создали новую науку о строении атомов. По этому учению атомы не представляют последнего предела делимости вещества—его мельчайшей частицы, притом обладающей различными индивидуальными свойствами, в зависимости от элемента, к которому принадлежит атом, как учила прежняя физика.

По новому учению, большинство атомов элементов представляет собой как бы бесконечно малую планетную систему, подобную нашей солнечной. Как вокруг солнца по замкнутым кривым линиям вращаются Земля, Марс, Венера и другие планеты, так и в каждом атоме какого-нибудь элемента вокруг центрального ядра, состоящего из положительно наэлектризованных, уплотненных между собой, частиц, вращаются по круговым путям наэлектризованные отрицательно чрезвычайно малые частицы, называемые *«электронами»*. В большинстве существующих атомов элементов такое взаимодействие двоякого рода частиц и связь между ними оказываются устойчивыми, подобно связи между движущимися частями машины, находящейся в исправном состоянии.

Но как раз радий представил исключение из этого установившегося порядка; он и т. н. урановая руда, из которой он добывается, обладают свойством непрерывного излучения мельчайших, но материальных, частиц, оказывающих механическое действие на находящееся на их пути твердое тело, что можно показать и доказать лабораторным путем.

Современная наука о строении вещества об'ясняет это явление, носящее название *«радиоактивности»*, распадом атомов радия. выделением из них части электронов.

Если мы возьмем любой учебник химии, мы найдем в нем т. н. *«таблицу Менделеева»*, в которой приведены все известные в настоящее время химические элементы; они расположены в таблице по возрастающим их атомным весам и сведены в группы. При этом каждая группа элементов обладает известными схожими химическими свойствами.

Современная наука не отрицает этой таблицы, по дополняет ее тем, что количество электронов, вращающихся вокруг ядра атома того или другого тела, она считает пропорциональным атомному весу элементов: у легчайшего газа—водорода—каждый атом имеет один электрон, у кислорода их 8, у серы 16, у железа 26. у ртути 80, а у элемента с самым боль-

шим атомным весом—урана—их 92—бесконечно малое солнце с вращающимися вокруг него 92 планетами!

При этом обнаружилось, что атом одного элемента превращается в атом другого элемента, и прежнее учение об их неизменяемости и постоянстве приходится оставить. Из опытов над самим радием выяснилось, что он с течением времени превращается в другой элемент; наконец, профессору Кембриджского университета в Англии Резефорду удалось искусственным путем расщепить атомные ядра некоторых элементов, напр. бора, азота, натрия, алюминия и получить из них ядра атомов водорода.

Кроме того, ученые считают и сам радий продуктом распада более тяжелого и с большим количеством электронов в атоме элемента—урана.

Поэтому новейшая физика теоретически считает вполне возможным получение искусственным путем золота из другого элемента, у которого больше атомный вес и количество электронов в атоме.

Замечательно, что средневековые алхимики, не имея никакого понятия не только о новейшей электронной теории, но и о самой химии, инстинктивно, бессознательно выбирали для своих опытов над искусственным получением золота элемент с большим атомным весом, чем золото,—свинец, стоящий в таблице Менделеева на третьем месте после золота.

Теперь германскому профессору удалось получить золото из элемента, стоящего в упомянутой таблице на первом после него месте, именно—из ртути.

Атомный вес золота=197,2, ртути=200; число электронов в атоме золота=79, в атоме ртути=80.

Открытие, как и многие великие открытия, произошло совершенно случайно. Мите и его ассистент Штампрейх в течение многих лет работали в фотохимической лаборатории Шарлоттенбургского политехникума, а за последнее время занимались исследованием т. н. ультрафиолетовых лучей—невидимых световых лучей, лежащих за границей фиолетовых лучей солнечного спектра, получаемого при разложении на цвета пучка световых лучей преломляющей стеклянной призмой.

Для этой цели Мите пришлось пропускать очень сильный электрический ток через т. н. «кварцевую» лампу—электрическую лампу, сделанную из кварца и наполненную ртутными парами.

При продолжительном действии лампы стенки ее изнутри покрылись темным налетом, произведя анализ которого, Мите нашел, что он состоит из золота.

Опыт был повторен, при чем Мите перед опытом произвел тщательное исследование лампы, нет ли внутри нее золотых частей или следов золота; после 200-часового действия лампы в налете было опять обнаружено золото.

Описанные опыты произвели большое впечатление и даже переполох в буржуазной американской прессе, и некоторые увлекающиеся журналы и газеты уже начали рисовать картину той опасности, которая грозит «цивилизованному миру», если золото потеряет свою цену (а миллиардеры—свои богатства). Более благоразумные газеты утешают «общественное мнение», что открытие практически имеет ничтожное значение, что подобный способ добычи золота и слишком дорог, и производительность его слишком ничтожна. Действительно, для получения одного килограмма золота по способу Мите пришлось бы затратить электричества на 20 миллионов герм. марок, т. е., примерно, в 2.000 раз больше, чем стоит теперь золото. Тем не менее, Нью-Йоркский университет решил повторить опыты Мите в большом масштабе и поручил это дело трем первоклассным американским физикам, в том числе нашему соотечественнику Рашевскому, приобретаемому в Америке большую известность своими блестящими лекциями по теории относительности.

Их задача как будто проста: отнять один электрон из атома ртути, но это оказывается не таким легким делом: его отнимешь, а он снова вернется на свое место; тем не менее, теоретически задача разрешима

и осуществима. Одним из способов ее осуществления является отнятие не одного электрона, а одного «протона» — положительно наэлектризованной частицы из ядра, которая связывает один электрон в силу того свойства, что заряженные разноименным электричеством частицы взаимно притягиваются; при отнятии же одного протона станет свободным и один электрон.

Американцы не сомневаются в достоверности открытия Мите и заявляют, что целью их опытов является не «как получить золото, а сколько оно будет стоить».

Во всяком случае, это открытие имеет громадное научное значение, но надо подождать результатов американских опытов, чтобы иметь окончательное суждение по этому вопросу, а от себя заметим, что ведь и сама ртуть является сравнительно редким и дорогим металлом, имеющим не условную, а определенную практическую ценность, благодаря своему применению в науке и технике.

### Изобретение, позволяющее слепым слушать книги.

А пока оставим в покое миллионы золота и их алчных владельцев и перейдем к миллионам... одних из самых несчастных на свете людей, лишенных света, слепых, количество которых так увеличила в нашей республике минувшая империалистическая война с ее удушливыми и ослепляющими газами.

Жизнь слепого — сплошная сумма лишений, из которых для грамотного слепого громадным лишением является невозможность чтения. Правда, для слепых печатались и печатаются особые книги с вышуклым шрифтом, но они малочисленны и дороги.

Теперь появилось новое изобретение — «оптофон», изобретенный английским физиком Фурнье д'Альб и позволяющий слепым пользоваться книгами, напечатанными обыкновенным способом, но только очень крупным шрифтом — пока для этого пригоден шрифт с высотой букв не меньше трех миллиметров.

Все приборы, которые приходят на помощь слепым в том или другом отношении, основаны на замене для них пользования чувством зрения, которое у слепого отсутствует, каким-либо другим чувством, например осязанием — при пользовании вышуклым шрифтом.

Изобретатель оптофона решил заменить зрительные впечатления — звуковыми. Устройство прибора основано на свойстве одного из химических элементов — селена — изменять сопротивление проходящего через прозрачную селеновую пластинку электрического тока, если одновременно изменяется сила проходящего через эту же пластинку света.

Изменение же отражения проходящего через пластинку тока сопровождается изменением шума в телефонном приемнике, соединенном с пластинкой.

Таким образом, если слепой наставит такую пластинку на окно, он услышит в телефонной трубке один род шума, а если на стену — то другой.

В таком виде прибор еще не годится для чтения, и оптофон состоит из семи таких приборчиков, соединенных вместе; оказывается, что существующие буквы могут производить семь различных комбинаций затемнения селеновых пластинок и давать семь различных тонов в телефоне.

Таким образом, буквы являются как бы нотами, которые слышит слепой: он ведет аппаратом от одной буквы к другой и приучается, по различным производимым ими в телефоне звукам, угадывать их значение.

При хорошем слухе слепой может таким образом разобрать до 25 слов в минуту <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Подробности устройства оптофона, доступные для понимания только при наличии рисунков и чертежей, приведены в 11 номере журнала «Искра» за 1924 г.

## Новости строительной техники.

Из новостей в области строительной техники следует упомянуть про самый широкий в мире тоннель—под рекой Мерсей в Англии,—к постройке которого теперь приступают англичане.

Этот тоннель должен соединить два больших промышленных английских города: Ливерпуль и Биркенхед, лежащие на противоположных берегах реки Мерсей. Длина тоннеля 2 версты, диаметр 36 футов; он горизонтальным помостом будет разделен на две равные части—верхнюю и нижнюю.

В нижней части на середине будет проходить электрическая двухпутная железная дорога, по бокам ее будут устроены вентиляционные коридоры, в которые электрическими вентиляторами будет нагнетаться воздух. Верхняя половина тоннеля будет отведена целиком для автомобильного движения, а в самом верху будет устроен вытяжной коридор.

Предполагаемая стоимость тоннеля—264.000.000 на наши деньги—на 40.000.000 рублей дешевле, чем мост, и кроме того тоннель не будет препятствовать судоходству по реке.

В прошлой книжке журнала пами уже приводились примеры грандиозных американских электрических «сверхстанций», но эти станции—паровые, и про неэкономичность паровых установок нами упоминалось.

Самый экономичный из тепловых двигателей—нефтяной двигатель Дизеля, в четыре раза более экономичный по сравнению с паровыми двигателями—до сих пор имеет ограниченное и в небольшом масштабе применение для электрических станций благодаря ограниченному пределу своей мощности сравнительно с паровыми турбинами.

Поэтому каждая новая электрическая станция, оборудованная двигателями Дизеля, является победой на дизельном фронте, завоевавшим значительную часть судоходства в виде теплоходства и проникающем в область железнодорожного транспорта в виде тепловозов.

В европейской части города Шанхая в Китае, в территории французской концессии, французы построили довольно большую электрическую станцию около 15.000 киловатт (20.000 лоп. сил), оборудованную исключительно двигателями Дизеля.

В ней установлено шесть дизель-динамо: две по 1.200 кв., две по 2.200 и две по 4.000 кв. Число оборотов меньших двигателей—150, больших—125 в минуту. Расход нефти получился весьма удовлетворительный: 310 грамм на 1 киловатт-час, что соответствует около 220 грамм на силу-час.

Выбор для станции в качестве движущей силы двигателей Дизеля был сделан вследствие плохого качества китайского каменного угля и плохой речной воды, которая в китайских реках всегда мутна и имеет желтый цвет, вследствие того, что они всегда несут в своих водах размываемые ими частицы глинистой породы—«лесса», а Шанхай как раз расположен на реке Вусунге, притоке знаменитого Янцзекианга.

## Авиация в будущей войне.

В авиации пока ничего не появилось особенно нового и выдающегося: в области постройки самолетов можно отметить постепенную замену дерева и полотна металлом—дуралюминием, переход на трехмоторную систему для больших пассажирских самолетов с целью большей надежности—возможность продолжения полета при одном исправившемся двигателе; применение авиационных сил большой мощности—до 1.000 сил (только что построенный английский бомбовоз «Кебору»). Поощряется также применение для воздушных сообщений гидросамол-

летов, могущих взлетать с воды и садиться на нее: такие самолеты летают между Штеттином в Германии, Стокгольмом и Копенгагеном через Балтийское море. В области дальних перелетов намечается третий перелет на самолете из Парижа в Нью-Йорк летом текущего года.

Успехи авиации и управляемого воздухоплавания обычно соединяют с понятием о его культурном применении, о самолетах, мчащих путешественников со скоростью в три раза большей, чем по железной дороге, в Берлин, Париж, Лондон, о воздушной почте, заменившей прежнюю тройку с колокольчиком и перебрасывающей письма за тысячи верст чуть не со скоростью прежних телеграмм, о мирном завоевании человеком полюсов, пустынных или неисследованных местностей... Но мало кто себе представляет в полном объеме ту грозную роль, которую может сыграть самолет не как друг человечества, а как его враг—в будущей войне.

Все военные и политические авторитеты единогласно утверждают, что будущая война, если она произойдет, будет резко отличаться от минувшей: объектом ее будет не фронт, а тыл, и из «механической» она превратится в «химическую»—поражение людей не снарядами и пулями, а отравляющими газами и жидкостями.

Военная химия, впервые проявившая себя в минувшую империалистическую войну в виде газовой войны, примененной сначала немцами, а потом и другой воюющей стороной, сделала после войны и делает сейчас колоссальные успехи; сейчас насчитывается уже свыше сотни отравляющих газов и жидкостей, действие их на людей самое разнообразное: есть вещества *удушающие*—хлор, сернистый газ и др.,—вызывающие кашель, отек легких и смерть; *ядовитые*—синильная кислота, окись углерода и др.—действующие без грубого разрушения дыхательных путей и вызывающие сравнительно скорую смерть; вещества, вызывающие слезы и слепоту; вещества, действующие на кожу и через нее, вызывающие нарывы, поражение внутренних органов и смерть—знаменитый «иперит»; наконец, вещества, соединяющие в себе те и другие разрушительные свойства. Одни вещества вызывают смерть сразу, другие причиняют временные болезненные явления; потерю слуха, зрения, рассудка и т. д.

Как видно, послужной список полный и блестящий. Но главная опасность заключается в том, что будущие воители намерены покончить с «предрассудком» прежних войн, будто бы объектом военных действий должны являться ведущие их, а мирных жителей тыла война касаться не должна. Они рассуждают по-своему логично: прежде всего, тыл изготовляет боевые запасы и оружие, без которых фронт не мог бы воевать, затем при наличии одного фронта война затягивается на долгие годы, как минувшая, а за это время измученный народ может восстать и свергнуть своих властителей.

А потому гораздо лучше и «гуманнее» нанести своему противнику сразу такой ошеломляющий удар, который сразу разрушил бы столицу и прилегающие центры страны, поверг бы ее население в ужас и заставил сдать на милость победителя.

Но такой удар, конечно, может быть нанесен только воздушным флотом при помощи самолетов и управляемых аэростатов. Через сутки после об'явления, напр., нам войны, а может быть и *за сутки до* (вспомним начало русско-японской войны!), Москва, Ленинград, Харьков, Киев, Одесса могут уже перестать существовать...

Сто самолетов, сбросив 200 тонн отравляющих газов, могут сделать необитаемой всю Москву, передувив все население, не успевшее убежать или скрыться.

Это не будет бомбардировка: бак с отравляющей жидкостью будет приделан к самолету снизу, летчик откроет кран и будет кружить вместе с сотней своих товарищей над городом, а отравляющее вещество будет литься тонкой струей, поливая дома, улицы, площади, бульвары, испаряясь вниз и отравляя все живущее.

Все здания, строения—все останется в целости, умрут только все люди и животные, заглохнут растения...

Таковы неутешительные перспективы не только для нас, но и вообще для жителей всех больших городов, *если они будут застигнуты врагом*. К счастью, в жизни людей и народов такие случаи бывают сравнительно редко.

Физический закон «действие равно противодействию» с давних пор получил применение в военной технике: как в древности человек противопоставлял мечу щит, так ныне он противопоставляет снаряду броню, самолету-бомбовозу самолет-истребитель и газу—противогаз.

Чтобы не случилось нарисованной кошмарной картины, страна должна обладать своим мощным воздушным флотом, который должен отразить и уничтожить летящие самолеты противника еще задолго перед тем, как они могли бы долететь до намеченных ими в жертву городов.

При этом, разумеется, воздушный флот должен стоять на полной технической высоте, он должен использовать все новые технические открытия и усовершенствования, применять их у себя. Например: каждый тип самолета имеет свой «потолок»—пределную высоту подъема. Предположим—война—и встретились две воздушных эскадры: нападающая, собирающаяся «аннулировать» население столицы страны, и обороняющаяся. Угощать пулями друг друга из пулеметов (а, может быть, и снарядами из небольших пушек) дело слишком долгое; гораздо лучше взлететь одной эскадре над другой и полить ее смертоносным химическим дождичком.

Поэтому обе эскадры начнут взмывать кверху, но «возьмет верх» и победит та, у которой самолеты будут лучше технически оборудованы. Но если бы вражеской воздушной эскадре или ее части удалось прорваться к намеченному ею городу, химическая оборона должна быть настолько оборудована—противогазы, подземные убежища и т. д.—чтобы результаты нападения оказались минимальными.

Наконец, страна должна не только быть в полном курсе дела относительно всех новейших средств химической войны, но и должна их самих производить и на химический удар отвечать химическим ударом же,—по меткому выражению тов. Троцкого: «око за око, газ за газ!». Он же сказал, что для обороны страны нужна «авиация, помноженная на химию».

Сказанное объясняет тесную связь, существующую в военном деле, между такими двумя разнородными отраслями техники, как авиация и химия, и указывает на громадную важность их для обороны страны.

Роль эта уже своевременно учтена и находит себе мощное содействие в двух советско-общественных организациях: ОДВФ (Общество Друзей Воздушного Флота) и Доброхиме, имеющих целью привлечь общественное внимание и содействие к возрождению и укреплению наших авиации и военной химии, тесно связанных с химической промышленностью в СССР.

Развивая ОДВФ и Доброхим, мы укрепляем и обновляем наш воздушный флот и химическую промышленность, имеем возможность вливать в них все новости заграничной науки и техники и в то же время повышать гарантию безопасности страны от новых грозных ужасов войны. В конце этой статьи приведены данные о новых русских изобретениях и достижениях в области авиационных двигателей и химической промышленности.

Развитие более экономичных двигателей позволит усовершенствовать авиацию и, в противовес чужим химическим воздушным дредноутам, строить свои, а изготовление военных химических веществ тесно связано с общей химической промышленностью, напр., с производством минеральных красок.

И в воздушном флоте обе стороны его применения—военная и мирная—тесно между собой соединены; империалистические страны, укрепляя

свой военный воздушный флот, в то же время развивают воздушные сообщения, тем более, что большие воздушные корабли как легче воздуха, так и тяжелее, могут в случае войны легко быть применены для военных целей.

Сейчас Англия разрабатывает очень интересный проект грандиозного воздушного пути между Великобританией и Австралией через Индию.

Проект предусматривает установление воздушного сообщения как на самолетах, так и на дирижаблях типа цеппелина, чему сильный толчок дал успешный перелет осенью 1924 г. германского дирижабля ZR3 из Европы в Нью-Йорк; об этом перелете упоминалось в прошлой статье.

Громадная самолетная линия пройдет через Константинополь, Каир, Багдад, Калькутту, Рангун в Индо-Китае, порт Дарвина в Северной Австралии и через австралийский материк до Сиднея.

Участок от Калькутты до Австралии будет обслуживаться большими металлическими гидросамолетами с тремя двигателями по 1.000 сил. Самолеты будут пролетать 3.200 километров над морем без посадки. Каждый самолет будет весить 20—30 тонн и брать с собой запас горючего в 7 тонн. Перелет от Лондона до Каира с остановкой на Мальте будет занимать всего 31 час.

Воздушное сообщение на дирижаблях в первую очередь предполагается открыть между Англией и Индией. Весь путь будет совершаться в 100 часов с одной лишь остановкой в Каире, и в первой половине 1925 г. английский дирижабль R33 совершит по этой линии пробный полет. Кроме того, английское правительство подписало контракт с заводом Вилкерс на постройку огромного дирижабля в 135.000 клуб. м. для той же линии, который будет готов в 1927 г. Его длина будет 208,5 м., ширина—39,5 м., вес—90 тонн, дальность полета—4.000 км.; он будет поднимать 120 пассажиров и 16 тонн груза или почты и будет снабжен пятью двигателями по 550 сил, топливом для которых будет служить керосин и водород. Дирижабль будет совершать рейсы между Лондоном и Австралией с остановкой в Каире, Индии и Сингапуре.

## Новости подводной и водолазной техники.

Человек, покорив себе для передвижения земную, водную и воздушную стихии, не довольствуется этим и давно уже стремится проникнуть в глубину водной стихии, в пучину океана.

К этому его влекут не только научные цели, но и практические, материальные, так как на дне океана лежит много затонувших кораблей с золотом и другими сокровищами, а минувшая война в этом отношении дала морям особенно обильную жатву...

До сих пор человек мог проникать под воду либо в водолазном костюме, либо в подводной лодке или ином подводном снаряде, напр., кессонах, применяемых при постройке мостов, водяных электрических станций, напр., Волховстроя.

К сожалению, до сих пор наибольшая глубина погружения, достигнутая при всех этих способах, ничтожна по сравнению с той, которая рисовалась возможной пылкой фантазии таких романистов, как, напр. Жюль Верн.

Дело в том, что вода давит своим весом на каждый погруженный в нее предмет, а, значит, и на водолаза, и на подводную лодку. При этом давление это увеличивается на одну атмосферу с каждыми 10 метрами глубины, таким образом, уже на глубине 500 метров (меньше полверсты) давление будет 50 атмосфер (50 килограмм на 1 кв. сант.), и такого давления не выдержит не только водолаз, но и подводная лодка.

Водолазные работы имеют громадное значение при ремонте морских судов на плаву, при поднятии затонувших судов, при портовых и гидротехнических работах и т. д. До сих пор водолазный костюм-

состоял из непромокаемой резиновой одежды, с которой герметически соединялся (навертывался на резьбе) медный со стеклами «водолазный шлем» (колпак) для головы водолаза.

Этот шлем позволял водолазу видеть в воде через стекла и в него же по соединительному резиновому шлангу все время с водолазной баржи посредством воздушной помпы, которую качали рабочие, нагнетался воздух, необходимый для дыхания водолаза.

При этом рабочие должны были качать помпой воздух все время; и притом очень умело: не очень сильно и не слабо — в обоих случаях водолаз начинал плохо себя чувствовать и дергал за сигнальную веревку, давая об этом знать.

Послевоенная техника водолазного дела сделала водолаза автономным: он десет с собой на спине и груди в особых металлических баллонах запас сжатого воздуха, которым и пользуется при помощи автоматического перепускного прибора для дыхания, а испорченный воздух пропускается через особые химические приборы, поглощающие из него углекислоту, и снова таким образом очищается.

Для работ под водой по металлу, напр., для разлома затонувших судов, вырубания в них отверстий и т. д., современный водолаз вместо обыкновенных ручных инструментов пользуется пневматическими, т. е. действующими сжатым воздухом, сверлами, зубилами, он даже может резать железные листы и балки пламенем кислородно-водородной горелки, горящей под водою благодаря тому, что сжатый кислород, с силой вылетая из горелки, образует вокруг нее пространство, свободное от воды, в котором и происходит горение. Пламя такой горелки имеет такую высокую температуру—3.000°, что моментально расплавляет металл и режет его, как пилот.

До какой же глубины может спускаться водолаз в таких костюмах?

Чем глубже он будет спускаться, тем большее давление воды он будет испытывать снаружи. Давление воздуха внутри водолазного аппарата, конечно, отчасти уравновешивает наружное давление, но значительное повышение его тоже вредно, так как отзывается на здоровье водолаза.

Вообще глубина водолазных работ зависит от здоровья, крепости и физической выносливости. В военном флоте в водолазы люди отбираются по самому тщательному медицинскому осмотру, атлетического телосложения, с безукоризненно здоровыми сердцем и легкими.

Чем больше глубина, тем короче должны быть пребывания и работа водолаза под водой. В водолазном деле глубина свыше 11 морских (6-футовых) сажен (20 метров) уже считается большой, а 22 морских сажени (40 м.)—предельной.

Наибольшей глубиной, когда-либо достигнутой водолазами, было 32 морских сажени (58,5 м.),—рекорд, побитый русскими водолазами при работах у затонувшей на Севастопольском рейде подводной лодки «Камбала».

И вот только что технические журналы принесли известие, что этот предел превоенной изобретением немцами специального металлического водолазного аппарата для работ на больших глубинах.

Как уже упоминалось, препятствием для работы водолазов на больших глубинах до сих пор служила мягкость резинового водолазного костюма, уступающего давлению воды. Поэтому практичные немцы решили изобрести жесткий водолазный костюм, который выдерживал бы давление воды, не передавая его на тело водолаза.

С этой целью они взяли в качестве примера, с одной стороны, водяное животное, которое природа снабдила таким панцирем, а именно... рака, а с другой—средневекового рыцаря, закованного в латы.

Вновь изобретенный германской фирмой Нейфельдт и Кунке водолазный костюм сделан из нержавеющей никкелевой стали; при этом, чтобы водолаз мог свободно двигать руками и ногами, сгибать их, костюм в этих местах сделан из отдельных, скользящих одна в другую,

так же, как чешуйки ракового хвоста, стальных пластинок, так плотно прилегающих друг к другу, что проникновение воды невозможно.

В таком костюме, по утверждению фирмы, спускаются на глубину 140, даже 160 метров. Водолаз имеет внутри телефон, электрическую лампу, барометр, термометр, к его металлическим рукавицам приделаны инструменты, которыми он действует так же, как инвалид при помощи искусственных рук.

А современные подводные лодки не могут погружаться и на глубину, доступную новым германским водолазным аппаратам. Это происходит вследствие их большого диаметра, требующего для сопротивления внешнему давлению очень большой толщины листов, а, главное, вследствие того, что подводные лодки до сих пор применяются только для военных целей, а не для мирных—технических и научных.

В военном же деле большая глубина погружения не нужна; достаточно лишь такая, при которой подводная лодка может уйти на безопасную глубину от снарядов военного судна или бомб с самолета.

Поэтому растут беспрестанно размеры подводных судов: из «лодок» они превращаются в подводные крейсера, водоизмещение которых в американском флоте доходит до 3.000 тонн; кроме минного вооружения, на подводных лодках появляется артиллерия—до 6-дюймового калибра; растет мощность двигателей и скорость подводных лодок, а предельная глубина погружения остается прежней.

Для работ на большой глубине по под'ему затонувших судов американцы построили... бронированный автомобиль—форменный танк с гусеничным самоходом, едущий по морскому дну, как по-суху. Бронирован он, конечно, не от неприятельских снарядов, а чтобы выдерживать наружное громадное давление воды.

В него сажают несколько человек, закупоривают герметически, так же, как и подводную лодку, и на цепи спускают на морское дно около затонувшего корабля. В него, кроме телефонного провода, сверху протянут провод, служащий для передачи электрической силовой энергии внутрь танка для приведения в действие его и находящихся в нем приборов и инструментов.

После спуска подводный шоффер под'езжает по дну к борту затонувшего судна. Из танка выдвигаются два массивных сверла, вращаемые посредством электричества.

Сверла просверливают в железном борту судна отверстия, в которые закладываются массивные крюки, соединенные посредством стальных троссов с большим цилиндрическим понтоном, заполненным настолько водой, чтобы он только слегка плавал.

Посредством электрической лебедки понтон втягивается под воду и крепится к борту судна, за ним таким же образом притягивается другой, третий и т. д., пока все судно не будет обвешано с бортов понтонами, как черес патронами.

После этого в каждый из понтонов по прикрепленным к ним резиновым шлангам впускается сжатый воздух, который начисто вытесняет из них воду, вследствие чего они приобретают большую силу пловучести, всплывают вверх и поднимают с собой затонувшее судно.

Способ этот изобретен инженером Рено, изобретшим описанные в прошлом номере движущиеся лестницы для лондонской подземной железной дороги.

## Советские изобретения и достижения на выставке НТО ВСНХ в Москве.

Много новых и полезных для человечества изобретений не перестает посменно давать мощная техника и промышленность заграницы, но на ряду с ними работает и советская изобретательская и техническая мысль, которая при начавшемся промышленном возрождении нашей

страны начинает давать уже практические результаты, крепнущие и расширяющиеся теперь с каждым месяцем.

Очень интересным показателем в этом отношении является работа наших научных экспериментальных институтов. С этой работой можно ознакомиться по открытой теперь в Москве выставке экспериментальных институтов научно-технического отдела ВСНХ.

На ней выставлены работы государственного экспериментального электротехнического института, института прикладной минералогии, научно-химико-фармацевтического института, института прикладной химии, центрально-аэро-гидродинамического института (ЦАГИ), научно-автомоторного института (НАМИ) и неск. других.

Главной задачей ЦАГИ является научно-опытное изучение наиболее выгоднейшей в смысле уменьшения сопротивления воздуха формы аэропланнх крыльев. С этой целью производятся испытания над сопротивлением моделей крыльев и целых самолетов в аэродинамической трубе, сквозь которую вентилятором продувается мощный поток воздуха.

Но задача ЦАГИ этим не исчерпывается: он создает новые материалы для самолетостроения, строит опытные самолеты и другие средства моторного транспорта, а также опытные ветряные двигатели.

На выставке фигурируют различные части для постройки самолетов из русского дуралюминия—кольчугалиминия, производство которого поставил ЦАГИ на Кольчугинском заводе во Владимирской губ.

Из этого металла ЦАГИ кроме опытного самолета построил несколько аэросаней, глиссеров и гондолу для строящегося дирижабля «Ильич»; на выставке представлены фотографии и чертежи всех этих сооружений.

Глиссерами называются моторные лодки с наклонным дном, как у гидроплана; благодаря являющейся вследствие сопротивления воды подъемной силе, глиссер на ходу почти целиком выскакивает из воды, держась только на узкой площадке дна. А вследствие этого сопротивление воды сильно уменьшается, и скорость глиссера достигает весьма больших размеров.

ЦАГИ построено два глиссера: Г. А. Н. Т. 1—деревянный, с водяным винтом и двигателем 160 сил, глиссер поднимает 4 пассажиров и развивает скорость 75 км. в час; далее Г. А. Н. Т. 2—дуралюминиевый, тоже поднимающий четырех человек, с двигателем 35 сил и скоростью 35 км.; винт воздушный.

Глиссеры могут иметь важное применение на больших реках, где нет еще сообщения на гидросамолетах, для доставки почты, которая может быть ускорена в 2—4 раза по сравнению с пароходным сообщением.

Сказанное могло бы иметь большое значение для наших громадных сибирских рек. Стоимость глиссеров—невысокая, и на них могут быть использованы авиационные двигатели старого типа, оставшиеся на наших военных складах и непригодные для современных самолетов.

Зимой глиссеры с успехом могут быть заменены аэросанями. В то время, как воздух уже давно завоеван для механического транспорта, снег еще только должен быть им завоеван.

Такая отсталость отчасти объясняется тем, что западно-европейская техника, не имея продолжительной зимы, не интересуется этим делом, и в нем мы предоставлены своим собственным силам, между тем для нашей страны аэросани могут иметь большое значение, так как автоматический транспорт по глубокому снегу весьма затруднителен.

ЦАГИ построил два типа аэросаней: один—А. Н. Т. 3 с авиационным мотором Рон 80 сил, поднимающий трех пассажиров и развивающий скорость 100 км. в час, и другой—А. С. Л. Н. Т. 4 с авиационным двигателем «Люцифер» 100 сил, поднимающий четырех пассажиров и развивающий скорость 110 км. в час.

Те и другие аэросани построены из кольчугалиминия, имеют

форму гондолы старого типа самолетов вроде «Фармана», поставленной на лыжи. Двигатели с воздушным винтом толкающего типа установлены в задней части аэросаней; рулевое управление—спереди.

Двигатели—авиационные, умышленно выбраны с воздушным охлаждением, а не водяным, могущим замерзнуть при сильных морозах.

Другой очень важной для нашей республики отраслью работ ЦАГИ является его работа в области ветряных двигателей.

Использование даровых сил природы является крайне важной задачей техники, и человеческая мысль по мере истощения или затруднения добычи каменного угля на земном шаре все более и более обращается к использованию энергии воды и ветра.

Запасы каменного угля на земном шаре вовсе не беспредельны; по подсчетам международной силовой конференции, заседавшей в прошлом году на лондонской выставке, их может хватить на 4.000 лет, но при условии, чтобы потребление каменного угля не увеличивалось, чего на самом деле не будет. По подсчетам ЦАГИ запасы энергии, заключающиеся во всем каменном угле на земном шаре, составляют 44.000.000 миллиардов калорий (единиц тепла), в то время, как запас энергии во всех ветрах земного шара—33.000.000 миллиардов калорий.

Годовое количество развиваемой ветром энергии в 5.000 раз больше энергии, развиваемой из потребляемого на земном шаре в паровых установках каменного угля и в 10.000 раз больше количества энергии, развиваемой за год водяными источниками: водопадами, порогами, запрудами и т. д.

В советской России около 200.000 ветряных двигателей (почти исключительно ветряных мельниц), но, по заключению ЦАГИ, исследовавшего все формы существующих ветряных двигателей, все они вследствие своей тихоходности слишком тяжелы и дороги.

Поэтому ЦАГИ, во-первых, спроектировал для крестьянских ветряных мельниц новую, улучшенную форму крыла, увеличивающую мощность мельниц на 50%; во-вторых, выработал свою систему 50-сильного ветряного двигателя и построил его для бакинских нефтяных промыслов, установив его на нефтяной вышке высотой 25 м. для откачивания нефти.

Двигатель ЦАГИ—быстроходный, дешевый, с автоматическим регулированием и с автоматически устанавливающимися в зависимости от силы ветра лопастями, так что двигатель не боится поломки от бурь.

Применение ветряных двигателей на нефтяных промыслах имеет вообще большое значение, так как благодаря им стоимость добычи нефти и, следовательно, ее себестоимость могут быть значительно уменьшены.

Не меньший интерес представляют работы научно-автомоторного института (НАМИ). Кроме целой серии работ по испытанию авиационных двигателей и определению их мощности, НАМИ выставил новые русские типы авиационных двигателей, спроектированные и построенные профессором Н. Р. Брилингом, инж. Микулиным и Климовым.

Душа самолета—его двигатель—имеет громадное значение в авиации. За границей имеется несколько десятков систем авиационных двигателей; некоторые из них, как, напр., «Либерти» приобрели всемирную известность такими рекордами, как, напр., описанный в прошлом номере кругосветный перелет, перелет через всю Америку, подъем на высоту 11.000 метров; все это было совершено на самолетах с двигателями «Либерти». У нас же до последнего времени постройка авиомоторов развивалась очень слабо, при этом строили двигатели иностранной системы, приспособлявая их лишь к русским материалам.

Слабым местом современных бензиновых авиомоторов является их огнеопасность. Сколько, напр., было пожаров с человеческими жертвами на Ходыкинском аэродроме в Москве!

Но такие катастрофы случаются не только у нас: последние английские журналы только что принесли весть о катастрофе, происшедшей на Крюйдонском аэродроме в Лондоне с пассажирским самолетом, со-

вершающим рейсом между Лондоном и Парижем. Самолет при взлете упал с небольшой высоты, бензин взорвался и загорелся, все семь пассажиров и летчик погибли в огне.

Такие катастрофы будут случаться постоянно, пока бензиновые авиационные двигатели не заменят нефтяными.

К этому идут, но задача эта очень трудная вследствие того, что нефтяные двигатели существуют только тяжелого типа, с большим весом, а тут требуется построить двигатель с весом не более 1 килограмма на силу.

Тем не менее, отдельные опытные нефтяные авиационные двигатели за границей построили, напр. в Англии, но там их устройство, вследствие требования военных министерств, собирающихся их эксплуатировать, держат в глубокой тайне.

Тем ограднее работа внутри страны в этом направлении, благодаря которой начинают уже появляться новые, отечественные, типы авиационных двигателей, даже нефтяных.

Что касается последних, то сейчас НАМИ выставил только что построенный Микулиным авиационный нефтяной двигатель небольшой мощности—20 сил, двухцилиндровый, предназначенный для так наз. «воздушной мотоциклетки» или «мотоавиотипа»—среднего типа между самолетом и планером. Двигатель делает 1.600 оборотов и весит 1,15 килограмма на 1 силу. Полное и совершенное сгорание нефти достигается особой формой камеры сжатия и поршня с отверстиями, вызывающими вихревое движение сжимаемого воздуха, чем обеспечивается его полное перемешивание с взбрызгиваемой нефтью и полное сгорание последней; двигатель двухтактный, т.-е. из каждых двух ходов поршня в цилиндре—один рабочий. Головка цилиндра снабжена небольшим запальным шаром (калоризатором), нефть взбрызгивается под давлением от полкуса через специальную форсунку.

Что касается другого нефтяного двигателя—Климова—в 400 сил, то он еще не построен, а разработаны пока только чертежи.

Двигатель должен работать по типу бескомпрессорного двухтактного двигателя Дизель с боковой продувкой.

Конструкция нефтяного авиационного двигателя также разработана известным в авиационных кругах деятелем в этой области—Котляренко, но не построена из-за недостатка средств. Котляренко разработана своя система нефтяного авиационного двигателя по типу двигателя Юнкера с двумя поршнями в цилиндре, движущимися навстречу друг другу, а также выработана система переделки известных бензиновых двигателей «Либерти» для работы нефтью.

Возвращаясь к экспонатам НАМИ, следует остановиться на авиационном двигателе проф. Брилинга двойного расширения, работающем по принципу паровых машин компаунд, т.-е. газообразные продукты горения, получающиеся при воспламенении смеси, отдают не целиком свою энергию в одном цилиндре, а последовательно, сначала в одном цилиндре, потом в другом.

Двигатель так наз. V-образного типа, т.-е. его цилиндры расположены двумя группами под углом друг к другу в виде французской буквы V.

Мощность двигателя 100—120 сил, число оборотов 1.600—1.800, вес на 1 силу 1,25—1,45 кг. Двигатель уже с успехом выдержал пробное испытание.

Весьма интересны вновь изобретенные приборы в отделе государственного экспериментального электротехнического института, напр. прибор Ширского, служащий как для записи очень малых промежуточных времени—нескольких тысячных секунды, так и для психотехнических наблюдений и испытаний.

Психотехника—испытание быстроты исполнения различных рабочих движений—получила большое применение в Америке для определения степени пригодности к службе или работе рабочих и служащих.

Прибор Ширского состоит из двух частей: электрического измерителя весьма малых промежутков времени и передатчика, на котором испытывается новичок.

Испытатель нажимает кнопку, отчего перед испытуемым вспыхивает лампочка; испытуемый обязан немедленно, как только заметит вспыхнувший свет, тоже нажать телеграфный ключ, отчего лампочка мгновенно потухает. Время горения регистрируется электрическим измерителем в тысячных долях секунды, и оно будет представлять собой время, потребное на 1) восприятие нервной системой испытуемого светового сигнала, 2) волевого импульса для ответа и его осуществления.

Далее, опыт усложняется тем, что испытуемому говорится, что вспыхнет либо зеленая лампочка, либо красная, в одном случае надо нажать правый рычаг, в другом—левый, но какая именно лампочка вспыхнет, испытуемый не знает. Так электрически испытывается быстрота восприятия, сообразительность, исполнительность... Конечно, в буржуазных странах это делается, главным образом, для отбора лучшего рабочего материала, но и у нас этот прибор, напр., может иметь большое значение для испытания паровозных машинистов или шоферов, от хладнокровия и быстроты действий которых часто зависит человеческие жизни.

Другим интересным прибором является «звуковой размыкатель»—прибор, служащий тоже для измерения малых частей секунды, но практически предназначенный для нахождения по звуку его источника.

Прибор кроме электрического измерителя тысячных секунды состоит из двух воспринимающих звук мембран (упругих металлических пластинок), способных колебаться, и устанавливаемых на некотором расстоянии друг от друга. Когда звуковая волна доходит до первой мембраны, замыкается ток и начинается отсчет времени; когда она дойдет до второй мембраны, ток размыкается и отсчет времени кончается.

Подобные приборы имеют большое значение в военном деле: посредством такого прибора по звуку выстрела можно определить очень точно местоположение неприятельской батареи и пристреляться к ней; определить начальную скорость снаряда при вылете его из орудия и т. д.

Подобными же видоизмененными приборами можно по звуку определять местоположение летящего вдали и невидимого еще самолета, подводной лодки под водой и т. д.

На выставке—несколько приборов, изобретенных известным деятелем в области радиотехники, проф. Коваленковым; между прочим, прибор для телефонной трансляции, позволяющий громкое телефонирование по железным проводам на дальнее расстояние.

Весьма интересна сконструированная и построенная институтом вагонная радиостанция, позволяющая иметь радиосвязь в поезде во время езды.

Дальность передачи: для радиотелеграфа—400 верст, для радиотелефона—100 верст. В данном случае значительные затруднения представило расположение антенны, которая не могла быть сделана высокой из-за того, что поезд должен проходить под верхними балками мостовых ферм; поэтому антенна возвышается над вагонной крышей всего на один метр.

Рядом—схема прибора Какурина для передачи изобретений по радио. В прошлом номере уже говорилось о подобном американском приборе, но там изобретение наносится на вращающийся цилиндр и делается переменной толщины, смотря по тому, насколько светел или темен данный участок изобретения.

У Какурина же изобретение на диапозитивной пленке освещается пучком света и проектируется на быстро вращающуюся металлическую круглую пластинку с многочисленными прорезями. Благодаря этому изобретению, так сказать, будет передаваться «по частичкам», когда вращив этих частичек будут оказываться вышеупомянутые прорези.

Световые лучи неодинаковой силы, проскакивающие сквозь про-

ради, действуют на так наз. «фотоэлемент» и вызывают колебания в антенне радиопередатчика. Принятые же другим радиоприемником колебания снова превращаются тем же путем в световые лучи различной силы, через прорези такого же вращающегося диска падающие на светочувствительную фотографическую бумагу и печатающие на ней передаваемое изображение.

Очень интересна лаборатория института для получения токов громадного напряжения—переменного до 600.000 вольт и постоянного до 150.000 в. Получаемые при разряде таких высоких напряжений электрические искры представляют собой форменные маленькие молнии до полутора метров длиной.

Проф. Кулебакин изобрел и выставил очень интересное приспособление, уничтожающее то мешающее действие, которое производит магнето авиационного двигателя на радиоприемник, находящийся в самолете; оно заключается в том, что провода, идущие к «свечам» (электрическим приборам, воспламеняющим горючую смесь в цилиндрах посредством электрической искры), делаются не сплошными, а в виде миниатюрных цепочек, вроде часовых по размеру.

В области сильных токов профессора Кулебакин и Шепфер выставили свои усовершенствования, касающиеся работы и обслуживания динамомашин и электродвигателей.

В институте прикладной минералогии выставлены интересные экспонаты по добыче в республике ванадия.

Ванадий является экспонатом, замечательно улучшающим свойства стали, напр., небольшая его примесь уже в три раза увеличивает ее крепость.

Поэтому ванадий получил большое применение в металлургии для получения специальных сортов стали, напр., инструментальной, автомобильной и т. д.

До сих пор ванадий был очень дорогим продуктом, потому что получался из-за границы, но теперь налажено его производство у нас—как побочного продукта при получении радия из радиоактивных руд Туркестанской Республики.

Там же демонстрируется впервые налаженное у нас производство кварцевых труб и сосудов, имеющих большое применение в химической промышленности вследствие своей тугоплавкости (при 1750°) и стойкости против различных кислот.

Этим же институтом выставлен новый способ переработки азбеста, благодаря которому выход азбеста из горной породы увеличивается в три раза.

Применение азбеста может иметь громадное значение для дешевого и огнестойкого строительства рабочих поселков, и институтом составлен в этой области соответствующий проект.

Институтом также усовершенствована добыча слюды и поставлена добыча в Туркестане плавикового шпата, который до сих пор ввозился из-за границы, далее, ставится производство фтористого натра для очистки шпала для НКПС и разработки графитовых залежей Туркестанского края, которая может усилить активность нашего внешнего баланса на 1 миллион рублей.

Экспериментальный институт силикатов выставил интересный способ добычи селена, применяемого в стекольном производстве и в радиотехнике, из отбросов производства серной кислоты.

Большое значение имеют работы научного института по удобрениям. Здесь в числе прочих работ выставлен способ проф. Брицке производства высокоценного суперфосфата из бедных русских фосфоритов. Агрономический отдел института выставил свои работы по переработке и применению удобрений, доступных по ценам для крестьянских хозяйств, наконец, горный отдел демонстрировал свои работы по переработке и добыче фосфоритов.

Химико-фармацевтический институт выставил новый способ про-

изводства пода и производство новых для СССР лечебно-химических веществ, как, напр., атропин, кодеин и др. Институт прикладной химии осуществил производство у нас минеральных красок до 100.000 пудов в год, в то время, как до войны Россия была в кабале у германской химической промышленности, ввозившей к нам до 500.000 пудов красок в год.

Этим же институтом организовано также производство некоторых других химических веществ, раньше ввозившихся к нам из Германии.

Б. Ловач-Жученко.

## Библиография.

Алексей Толстой. Черная пятница. Рассказы. 1923—24 г. «Атеней» Ленинград. Стр. 187.

В этой книге собраны рассказы, разбросанные автором по журналам и альманахам истекшего года. Герои большинства рассказов эмигранты. Годы, проведенные писателем за границей, дали ему богатый материал. Обладая редким дарованием рассказчика, Толстой живо изображает трагедию людей, выброшенных революцией из жизни, опустошенных горьким и напрасным ожиданием чудесного спасения от неизбежной катастрофы. Жизненный успех и благополучие «жителей без отечества» всецело зависят от мелких случайностей и, в лучшем случае, от устойчивости биржевой валюты. Поэтому лихорадочная, кипучая и короткая «деятельность» какого-нибудь золотозубого Адольфа Задера кончается революционным выстрелом в висок после того, как в одну из пятниц над берлинской биржей развилась гроза, и доллар стремительно полетел вниз.

Двойной ряд золотых челюстей, свернувшихся на ночном столике под электрической лампочкой,— вот все, что осталось от этого проходимца, сумевшего на одну минуту вволюнять унылый покой семейного гансена фрау Штоле, где обитают и актер Семенов-второй, отпускающий себе эспаньолку в баки, чтобы окончательно порвать с Россией, и писатель Картошкин, чьим «чуждым русским языком» очарована вся эмиграция, и полковник Убийко, когерьный по ночам поет в цыганском хору в «Забубенной Гололушке».

Не все рассказы написаны одинаково: если в парижских олеографиях Толстой верен «французской манере» письма, если «Гидра»—очень давнишняя вещьца, просто-напросто «подновленная» датой и соответствующими изменениями в обстановке, то самая крупная по размерам, да, пожалуй, и по заданию, повесть—«Рукопись, найденная под кроватью»—отмечена несомненным влиянием Достоевского. Оно чувствуется во всем, начиная с «улыбочек» и «выбкой походочки» одного из героев и кончая очень близкой Достоевскому трагической событий чуть ли не по Апокалипсису. Да разве это, например, не Достоевским продиктовано?... «Я тоже пить хочу из золотого ковша... А ты говоришь—молчи, живи в тухлой воде. Саша!.. я пьян, убог, гнусек... Ах, Саша, сел бы я на коня—крикнуть бы, завизжать!... Четыре столетия во мне этот крик. Да не могу. В жизни не мог закричать—только писк мышинный... Я в вине утоплюсь! Природа наша коначка. Теперь богатыри нужны, а я пишу. Теперь ногу в стремя—проснись, душа! А у меня, видишь, как руки трясутся? Саша, милый, эсису я в таком восторге, там зубительно себя чеканю. Ведь хоть в этом мое богатство».

Написаны рассказы мастерски. В памяти надолго остаются старческие переулочки Парижа, четко и ясно зарисованные в «Рукописи». В своей статье о «Читателе», помещенной в виде предисловия к книге, Толстой, поднимая вопрос о взаимоотношениях читателя и писателя, говорит: «Новый читатель, это—тот, кто

почувствовал себя хозяином земли и города. Тот, кто за последнее десятилетие пережил десять жизней. Это—тот, у кого воля и смелость жить. Это—тот, кто растерял старые устои и ищет новых, в которых душа бы его сталастройной. Это—тот, кого обманула старая культура. Новый, неведомый читатель Седьмого Года Республики.. Он стоит у черты и глядит в лицо молодыми, жадными, смеющимися глазами».

И этот читатель вправе ждать от Толстого нового слова—не о тех, кто погибает на развалинах старой культуры, а о тех, кто призван создавать новую жизнь. Такое слово нужно *сейчас* читателю, а он, по убеждению самого же Толстого, — «составная часть искусства».

Н. В.

**Алексей Демидов. Жизнь Ивана.** 2-е изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1925. Стр. 268. Тираж 5000. Ц. 4 р. 50.

Повесть А. Демидова, готовящаяся к печати уже 3-м изданием,—большое «эпическое полотно», изображающее жизнь Ивана—индивидуального и коллективного—в тульской деревне конца XIX века. Деревня расхлебывает все последствия *освобождения крестьян от земли*, проведенного в 1861 году: графские имения «валяли на три уезда», а деревушка довольствуется жалкими клочками. Не дремлют и кулаки—мироеды, и кабатчики, берущие в аренду у графа те куски земли, без которых мужикам—«ни охнуть, ни вдохнуть». Деревня попрежнему работает на помещика и находится от него в полукрепостной зависимости. Темный, несчастный деревенский люд живет надеждой на чудо, на «милостивейший анхвеств», и «золотую грамоту». Но получает только Урядников, станowych, губернатора с ротой солдат—перманентную порку.

В деревне—разорение, тьма, допотопные понятия. В сырых угарных избах вместе с людьми зимой живут телята, свиньи и другие четвероногие. Тут же—водной избе—родятся, умирают, женятся, любят, навивляют, склоничкают, пухнут от голода—и работают, работают, работают.

Семейный быт в его главных моментах с его обрядами, суевериями, редкими радостями и частыми бедами—развертывается в повести неспешно, основательно, детально.

На фоне этого «сплошного быта» рисуются детство, отрочество и юность Ивана. Нужда отрывает подростка от земледелия и гонит в писаря, в конторщики. Только в 1905 г., служа конторщиком на заводе, Иван примыкает к революционному движению. Но стихия революции не захватывает его всецело: ему хочется любить, учиться... жажда личной жизни проснулась в нем. Повесть Демидова выдержана в духе натурализма, граничащего с фотографией и протоколом. Бесхитрое повествование, близких к хронике,—правдиво, честно, горко к деталям. Вредит повести ее растянутость и расплывчатость. Ряд страниц—прозаично пресек, без «ксюминки», «Фламандской школы пестрый сор» подаст порою совсем в сыром виде. Подходит автор к деревне «по-родному»: удивительно тепло, душевно, ласково, местами лирически-нежно и проникновенно. Каратаевская безмятежность далеко не чужда автору. «Жизнь Ивана»—скорее «человеческий документ», чем художественное произведение.

А. Цинговатов.

**В. Александровский. Шаги. Стихи и поэмы. 1924.** «Московский Рабочий». Стр. 98.

Александровский справедливо считается одним из лучших представителей современной пролетарской поэзии.

Прочитав его последнюю книгу, мы найдем немало технических недостатков, сможем уличить автора в повторяемости образов, в небрежном отношении к материалу и т. д., но не в этом дело. В Александровском поднимает какая-то непосредственная честность каждой строки: она выстрадана и подарена счастливой минутой поэтического волнения, и за это одно мы охотно простим Александровскому все недочеты!

Автор счастливо сочетал в себе дарование гражданского поэта с лирическим строем души. Потому стихи его, даже препорученные к сегодняш-

нему дню, только что напечатанные в газете, не устарели, перейдя в сборник и в антологию.

Вовсе не случаен для него жест огридания искусства—только как искусства:

Я стихами по-горло сыт,  
Очертзели мне лунные ночи!  
Пусть болотом всосет меня *быт*,  
Быт крестьянина и рабочего.

И отсюда тяготение к тяжелому и простому повседневному языку:  
Дни, как воду, вы пьете из колодца,  
Так зачем же *скулить* и орать,  
Что теперь вам *похатнее* живется,  
Чем жилось в недалеком «вчера»?

Два параллельных мотива особенно ярко выделяются в последних вещах Александровского, это—жгучая, горькая ненависть ко «вчерашнему дню», когда «у дверей кабаков и трактиров продавалась се-стра». И наряду с этим крепкая вера в будущее, в котором

И глаза загорятся суровой,  
И гройой задымится весна...

Этот звон вабунтовавшейся крови  
Мир разбудит от мертвого сна!

«Шаги» Александровского,—порой нервные и усталые, но все же—упрямые шаги в будущее.

Н. Б.—ский.

Сергей Есенин. Стихи. Книгоиздательство «Круг», 1925 г. Москва.

Казалось бы, что Есенин подводит этой книгой некоторый поэтический итог—за этой книгой как-будто начинается другая линия творчества: Есенин пытается перейти от личных тем к эпосу («Песнь о великом походе») и пытается поэтически осмыслить революцию, но оказывается, что дальнейшее направление его пути несколько не меняется, и все пока остается попрежнему. Эпос ему решительно не по плечу, а чрезмерный интерес к себе мешает ему вплотную подойти к такой огромной и ответственной теме, как тема о революции.

В книге собраны лучшие вещи «доскандального» периода: знаменитая «Исповедь хулигана», «Сороноуст», целый цикл лирических стихотворений—«Москва кабацкая» и «Русь Советская».

Если бы кто-нибудь потрудился подсчитать, сколько раз употреблено в этой книге Есениным слово «я», то окончательно сбился бы на десятом стихотворении.

Трудно выдумать что-нибудь общенароднее Пушкинских юбилейных торжеств, но даже и здесь Есенин остается верным себе и упорно внушает читателю, что ему (Есенину) хотелось бы не менее прочного бронзового памятника. Это поспешное и неумеренное стремление завязать читателю интерес к мелким деталям своей биографии паложило на последние стихотворения Есенина отпечаток казбывалой у него доселе небрежности и породило бесконечное количество вариаций, едва ли интересных и нужных. Теперь уже совсем нередки примеры чудовищных провалов в бесвкусицу и прозаизм.

И все же мы любим Есенина, потому что один он мог говорить (пусть о себе и только о себе!) таким свежим языком:

«Был я весь, как запущенный сад»...

И все же мы любим Есенина потому, что один он с такою, почти Пушкинскою, ясностью и чистотой писал:

«Не жалею, не взову, не плачу—  
Все пройдет, как с белых яблонь дым.  
Увиданья золотом охваченный,  
Я не буду больше молодым».

Мы любим его потому, что он был одним из лучших лириков нашего времени после Блока.

Трудно сказать, сумеет ли Есенин овладеть новыми темами и занять почетное место гражданского поэта, но думается, что неудача будет неизбежна, если окружающее будет для Есенина только зеркалом, в котором он любит себя самим собою, если переход к этим новым темам будет носить характер извещения, что «я» очень сейчас интересуюсь «Капиталом» Маркса, нефтяной промышленностью и революционным строительством.

Н. Б.

Пьер Амн. Лен. Роман; перевод с французск. Э. М. Лавин. Изд. «Пучина». Ленинград—Москва. 1924. 220 стр.

Пролетарий по происхождению, бывший кондитер, железнодорожник, инспектор труда, Амп всегда был связан с производством. Его взгляды на задачи искусства определяются статьей «Искусство и труд»: «Перестав воспроизводить жесты бездельников и измышлять психологию рантье, искусство вновь вернется к временам, когда оно обожествляло труд». И творчество Ампа всецело посвящено труду, различным отраслям производства. Произведения его — подлинные технические сиврачнички, столь они насыщены документальностью. Выдвигнутый еще натуралистами, документ дан у Ампа в художественном произведении, а не только служит базой при конструкции образов. Поэтому проза Ампа в своем своеобразии часто заимствует формы публицистической статьи. Романы Ампа не отличаются строгой фабульностью. Композиция их, в большинстве случаев, не основана на сложной интриге четко обрисованных персонажей.

«Лен» — роман о производстве льна, от точки его в водах бельгийской реки Лисы, обработки на фабриках и у кустарей, — до изготовления белья и платья в парижских мастерских, и затем продажа льняных изделий в громадных магазинах столицы. Это — роман льна и прядильниц. Эскизы о личной и общественной жизни многочисленных персонажей, рабочих, фабрикантов и их семей не связаны единством интриги. Амп говорит не рав о любви, но у него нет центральной любовной новеллы. Он пишет о зужде и смерти, изнуряющих тяготах производства, не сосредоточиваясь на трагедии отдельной личности. На первом плане — трагедия производства, в котором идет глухая борьба отмирающих его форм с новыми, трагедия машин, конкуренция различных видов сырья. Все это дано в плане международных экономических отношений. Производство захватывает трудящихся Ампа; их жизненная философия — труд. Вместе с тем, Амп не лишен мелодраматической аффектации, когда он противопоставляет нужду трудящихся роскошь немногих потребителей совершенных продуктов производства. Заключительные слова романа это подчерк-

вают: «Губы Рене Депрье (жена фабриканта) готовились к поцелуям, которые должны были покрыть ее тело, ткань ее платья, кружева, все брачное одеяние, смоченное слюной старой пряхи».

Современность Ампа — в осознании значительности экономического быта, оформляющего интимные душевные побуждения, окрашивающего все личные порывы. Амп труден для чтения и перевода вследствие обилия у него технических терминов и областных слов. Учитывая это, нужно все же указать на небрежность переводчика. Встречаются тяжелые обороты, галлицизмы. Примеры: «Но перенести пачку на спине только может доставить удовольствие мужчине»... «Наводнение всего мира английским хлопком было равносильно древним нашествиям для народного богатства»... «Хорошая продавщица должна уметь дать поучительным внематерне»...

М. Эйхенгольц.

Джеме Уэлш. **Подземный мир.** Пер. с англ. Вершининой. Изд. «Мосполиграф». 1924. Стр. 287. Ц. 4 р. 60 к.

«Подземный мир» — роман молодого шотландского писателя, выдержавший в Англии семь изданий, дает своего рода смелую хронику на фоне рабочего движения в последней четверти XIX столетия. Автор — шотландский рабочий — углекоп. «Я старался — говорит он в предисловии — написать жизнь, которую я хорошо знаю, — жизнь, которой я жил, и жизнь тех людей, кого я любил больше всех и кем всегда гордился и горжусь. Мои предки в течение нескольких поколений были углекопами, и я, в свою очередь, стал углекопом в 12 лет».

Автор превосходно знает домашний быт шотландских шахтеров — ряд бытовых фигур и их взаимоотношений изображен им ярко, свежо, отчетливо и реалистически-убедительно. Но живой нерв романа, конечно, в общественном его содержании.

В романе очень интересно прослежено и художественно показано, как в захолустьем округе Шотландии

в обстановке патриархально-варварского режима, появляются первые признаки рабочего движения. Движение возникает на почве закабаления и бесправия: непомерно низкая заработная плата не соответствует голодному минимуму рабочей семьи и растущей дороговизне жизни; на копыта господствует безобразный произвол штейгера: хороший заработок достается только тем углекопам, жены и дочери которых достаточно податливы по отношению к штейгеру. Инициатором движения становится обремененный семьею рабочий Синклер. Задача, которую он себе ставит, в сущности весьма скромная—создать местный профсоюз. Но не так-то просто налаживается эта простая задача. Штейгер через своих агентов уже осведомлен о планах Синклера, кроме того, штейгер получил должный отпор со стороны его жены. И вот начинается травля Синклера: штейгер постоянно ставит его в положение безработного и, наконец, чтобы избавиться от беспокойного агитатора, посылает на работу в самое опасное место, где Синклера вместе со старшим сыном убивает обвал.

Второй сын убитого, Роберт, продолжает линию отца; ему удается организовать районный союз рабочих и довести борьбу до известной стачки углекопов в 1894 году. Только что потерпела крах стачка английских углекопов, и теперь все надежды обратились на шотландских товарищей. Семнадцать недель длилась упорная забастовка, и в результате шотландские углекопы принуждены были вернуться на работу на прежних, а местами и на худших, условиях: к этому их принудили и сплоченность хозяев и предательство профсоюзных вождей. Временно организации рабочих был нанесен серьезный удар.

Однако, движение растет, и объединенный союз углекопов Англии и Шотландии уже созывает свой съезд в Лондоне.

Классовая борьба обостряется, и грозные силы рабочих масс выходят на широкую арену борьбы.

Хороши те страницы, где изображается искусное околпачивание рабочих депутатов на съезде буржуазными министрами и владыками копей. «Галерея тонких плутов» умеет

добиться своего: депутаты ласково приветствуют, матерски сжимают, те идут на компромиссы и попадают в ловушку. Честный Роберт Синклер не выдержав этого гнусного зрелища, взял слово вне очереди и в гневной речи «здорово отдубасил всех важных персон». Но большинство рабочих депутатов все-таки поддались на удочку дипломатических речей и пошло на соглашение с буржуазией. Роберт, оставшись в меньшинстве, чувствует глубокое разочарование: «если бы рабочие высказались против соглашения,—думал он,—это убедило бы некоторых колеблющихся и отстающих в необходимости пойти решительно вперед по пути открытой борьбы».

Однако, когда на конференции рабочих снова был поднят вопрос о пагубности компромисса и на лидеров союза яростно напала рабочая масса, Роберт никак не отозвался на дискуссию—промолчал: все мысли его были отвлечены в сторону любимой женщины, умиравшей от чахотки и неудавшегося счастья. Роберт поддается настроению упадочного индивидуализма: «О, если бы умереть и ничего не чувствовать!»

Роман Уэлша отличается высокими художественными достоинствами. Перевод очень хорош.

А. Цинговатов.

И. И. Сакулин. Русская литература и социализм. Часть первая. Ранний русский социализм. 2-ое переработанное издание. Гиз. М. 1924. Стр. 535. Цена 3 р. 50 к.

В сравнении с первым изданием вторая редакция книги проф. Сакулина имеет некоторые видоизменения, произведенные, как указывает сам автор (в предисловии к 2-му изданию), на основании замечаний, сделанных марксистской научной критикой по поводу первого издания. К числу существенных изменений принадлежит сокращение введения, излагавшего общую историю социализма и марксизма, что являлось лишним балластом для книги, т. е. для историка и социолога это популярное изложение—излишне, а неподготовленный читатель будет учиться на рекламному, конечно, по другим источникам.

«Общий социологический фон» указывается П. Н. Сакулиным в основном верно. Правильно констатируются три этапа в развитии русского социализма: ранний—утопический, народнический и научный—марксистский. Ранний социализм приурочивается к 30—40 г.г. прошлого столетия. Эпоха, когда он развивается, правильно обрисовывается, как период начала увядания помещичье-дворянского строя и зарождения буржуазного при господстве бюрократии. Констатируется наличие трех идеологий: официальной народности, славянофильства и западничества; среди последнего различается два крыла—правое и левое. Последнее и порождает утопический социализм. Социально оно складывается из деклассирующейся дворянско-помещичьей интеллигенции (к слову сказать, элемент этой деклассированности выявляется не достаточно полно и отчетливо) и нарождающейся, еще во многом не определенной, буржуазной интеллигенции в ее левом, разночинном крыле. К их числу и принадлежат: Герцен, Огарев, Бакунин, В. Майков, русские марксисты 40-х г.г., Белинский, петрашевцы, являющиеся идеологами и носителями раннего русского—утопического—социализма. Им и посвящена книга проф. Сакулина.

Схема в основном—правильна, однако, ее разработка имеет некоторые существенные недочеты.

Прежде всего, методологическая сторона книги проф. Сакулина страдает отсутствием строго монистического принципа. Стоя на точке зрения социологической методологии, П. Н. Сакулин неправильно подходит к индивидуальности писателя. По мнению нашего автора, —«когда речь идет о такой материи, как идеология, наш социологический детерминизм нередко ударяется о творческое своеволие индивидуальности», и т. д. Или—еще пример методологической непоследовательности проф. Сакулина. Признавая классовость интеллигенции («... во второй четверти XIX в. можно говорить особо об интеллигенции крестьянской (в частности, крепостной), дворянской, буржуазной, обнимающих ближайшие интересы того или другого класса»), П. Н. Сакулин рядом же говорит о

наличии сверхклассовых, «высших», идеологий: «... существовали идеологии высшего порядка (I?), стремившиеся дать широкое культурно-философское решение основных проблем русской жизни» (стр. 84). К числу этих идеологий «высшего порядка» относятся, по мнению автора, славянофильство, западничество и... официальная народность. Едва ли нужно говорить о классовости этих идеологий, тем более, что и сам П. Н. Сакулин не может обойтись без обращения к классовому анализу.

Конкретная разработка многих литературных явлений, связанных с ранним социализмом, не выходит за пределы только фактического исследования. Несомненно, что при общей неразработанности социальной истории нашей литературы приходится зашпатель еще только фактическими разысканиями, оставляя социологические обобщения для будущего. Но, однако, ограничиваясь фактической историей, нельзя полагать, что окончательную причину надо искать не в социальной сфере, а в индивидуальности того или иного писателя, как это довольно часто делает проф. Сакулин (напр., его отношение к Ап. Григорьеву).

Несоблюдение в полноте всех требований, вытекающих из признания социологической методологии, значительно понижает общую ценность книги, которая в общем может явиться весьма бесполезным пособием при изучении общественной сущности русской литературы и послужить предварительным материалом для социологического построения истории русской литературы.

*Арт. Глазголев.*

**Л. М. Клейнборг. Очерк народной литературы.** Изд. «Сеятель», Ленинград 1924 г. 312 стр.

На критическое глубокомыслие автор, очевидно, не претендовал и такого не проявляет. Книга его, по существу своему, является слегка олитературенным сырым материалом биографически-хрестоматийного характера, и в этом смысле Клейнборг родственно близок эклектическому трудолюбию Львова-Рогачевского. Но, если критическое значение данной книги крайне невелико, то ли-

формационный ее материал заслуживает внимания. Перед читателем проходит длинный ряд писателей из рабоче-крестьянской среды, который, с фанатическим упорством преодолевая нужды и темень безграмотности, пытался сказать в литературе свое, непосредственно свое, рабоче-крестьянское слово. Многие из перечисленных писателей безвозвратно забыты, некоторые из них уцелели в истории литературы, часть из них является нашими современниками, — но все они, без исключения, шли к литературе ощупью, самоучками, изредка встречая на своем пути доброжелателей и наставников вроде Короленко и Горького, а большей частью — понукаемые одиночеством и насмешливым презрением литературных верхов. Но прежде чем — так или иначе — вынырнуть им на литературную поверхность, каждый из них был до крови иссечен своей биографией.

Писатель П. Травин:

«...Тринадцать лет отец поставил его за верстак. Работать не хотелось, но нужда была страшная... Жили в тесном сыром подвале... Книжки доставать было трудно, но страсть к чтению превратилась в болезнь. Травин забивался в сарай и плакал, — горько плакал в необъятной тоске по книге. Тогда же впервые и стал писать».

Жизнь М. Логинова (Тихоплесеца):

«...Семья полуголодала, ютятся где-то в подвале... В молодости, когда судьба выкинула его из родной деревни, он босячил, мыл посуду в трактире, работал в аптеке и т. д.»

Попов (Завражный):

«...Когда мальчик стал подрастать, семья разделилась, впад в нужду. С девяти лет он, как и все дети, уже помогал отцу в работе дома, а с 12 пошел работником по богатым мужикам, неся всю тяжесть земледельческого труда и унижений со стороны хозяев. Учился в школе только две зимы... По выходе из школы Завражный забыл грамоту — не было ни книг, ни времени для чтения, — и к семнадцати годам еле-еле умел разбирать по печатному»...

В. Карпов (Мясников):

«...В сельской школе учился две зимы... должен был прекратить паук, так как у него не было ни обуви, ни теплого платья. 15 лет был увезен в Москву и отдан в типографию».

Шкулев:

«...проучился недолго: вышло ему место на фабрике. Фабрика с первого раза покчалась ему адом. Приходило с работы он в девять — десять часов вечера, а вставал, чтобы идти, в три часа утра»...

Усугублялись все эти невгоды еще тем, что перечисленные писатели спасались в одиночку от ударов судьбы. Далекое от осознания себя как частицы огромного трудового коллектива, который должен в мужественной революционной борьбе завоевать свое право на иную, более светлую жизнь, они стучались со своей болью, искренне, но неумело выраженной в литературной форме, в толстые двери барствующей дворянской литературы. Большей частью толстые двери были неумолимо заперты для этой бездомной и одинокой боли, но, если крик ее делался пронзительно-острым, ругательствам эстетствующей интеллигенции, делавшей погоду в литературе, не было конца.

Особенно крепко досталось от нее Сивачеву и Пимену Карпову, посмевшим закатить звонкую потешливую хавжествующую культуру верхов. Один лишь Толстой остался доволен: дебошем. Прочитав «Прокрустово ложе», он писал Карпову:

«Книга ваша мне понравилась своей смелостью мысли и ее выражения». Критики же всех остротенков и мастей с беспощадным остервенением вцепились в писателей, посмевших нарушить их барственный покой.

В теплой компании ругающих и издавающихся были и Ожигов, и Чуковский, и Философов, и Зинаида Гиппрус, и Иванов-Разумник.

Ругали не за неумение писать, ругали за крик сердца, за нарушенный ритуал литературного лицемерия.

У «небесного» Мережковского для Пимена Карпова ничего другого не нашлось, когда последний, в поисках человека, забрел к нему, кроме ехидной улыбочки. Так свидетельствует не умеющий лгать Карпов.

С большой чуткостью, приправленной лисьей хитростью, заявляет Чуковский по поводу не эстетических и литературно не приличающих воплей книг Сивачева и Карпова:

«...меня радует ныне эта грядущая битва — бой между «намн» и «пмн».

И как это будет отлично, когда они нас победят».

Что за страшный мазохизм, — редоваться, что кто-то меня съест, кто-то меня уничтожит. Здесь же более, чем кокетство человека, взирающего со смертью, держа в руках незаряженный револьвер, отлично знающего, что ни с какой стороны его благополучию никто не угрожает. Но расчеты Чуковских оказались неверными. В барабане револьвера оказалась пуля.

Крепкой ватагой влился демос в литературу нашу: пришли Чапыгин, Касаткин, Вольнов, Под'ячев, явились мускулистые кузнецы — Гладков, Ляшко, Новиков-Прибой, Низовой и другие.

Робкого деклассированного писателя сменил подлинный представитель рабоче-крестьянских масс, художник, не обивавший пороги мужеподобных Зинаид Гипциус, пришедший в литературу не демонстрировать свои страдания «господам», а выявить свою социально осознанную мощь, почерпнутую из подлинно народных глубин, почерпнутую не при помощи евангельской филантропии кародинического верхояздания — падо, мол, спасти низшего брата, — их писательской рукою водит по бумаге непосредственно плоть и мовь самого народа.

Скромное трудолюбие Клейнборта его «Очерками народной литературы» вполне оправдано. Собранный в них материал говорит сам за себя и без руководства автора будит мысль читателя к обобщениям и выводам.

*Ф. Жиг.*

**Я. Шафир.** От остроты до памфлета. Издание центрального бюро секции работников печати союза рабочих. пров. СССР. М. 1925.

Один из наиболее животрепещущих вопросов «газетной культуры» сводится к умению занимательно подавать читателю материал, возбуждающе действовать на его внимание, сразу захватить и цепко удерживать его рассеянную мысль. Проблема занимательности, играющая такую

существенную роль в общей литературе, приобретает повышенную остроту при обработке газетного материала. Вот почему вопросы «веселого в газете» — фельетона, сатиры, басни, памфлета — приобретают первостепенный интерес для теории газетного стиля.

Рассмотрению этих вопросов я посвящена книга Я. Шафира. Исходя из общих определений техники и психологии остроты, автор подробно изучает приемы мастеров жанра — знаменитого редактора «Фонаря» Анри Рошфора, виртуоза «короткой строчки» Дорошевича, создателя «красного фельетона» Л. Сосновского, наконец, стихотворных фельетонистов, сатириков и баснописцев — Саши Черного и Демьяна Бедного. В заключение книги автор изучает «Красный памфлет» в лице его замечательнейших представителей — Маркса и Троцкого.

Темы, таким образом, выдвинуты новые, свежие, мало разработанные, возбуждающие теоретический интерес. В этом крупная заслуга автора отчетной книжки. Он несомненно обладает счастливым умением подвергать конкретный материал тонкому теоретическому анализу и отчетливо выделять все характерные признаки данного жанра. Вопросы фельетонной техники, советского анекдота, портрета-характеристики или крылатого изречения поставлены уверенно и разрешены оригинально и удачно.

В упрек автору следует поставить чрезмерное увлечение Фрейдом (в главе о сущности комического), где было бы правильно привлечь исследование Куно-Фишера «Об остроте», и затем, в особенности, недостаточно полную оценку фельетона, который несомненно выходит далеко за пределы определения «веселое в газете» и насчитывает в истории своего развития первоклассных художников слова.

Книгу Шафира следует прочесть как журналисту-практику, так и литературному теоретику, заинтересованному познанием мало изученных жанров.

*Л. Г.*

Редакторы { *А. В. Луначарский.*  
*Ю. Стеклов.*

Издание „Известий ЦИК СССР и ВЦИК“.